This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

ПѢСНИ О СИБИРИ

František Ráček
profesor obch. akademie.

= Mikheev, V.
В. Михеева.

МОСКВА.
Типографія М. Г. Волчанинова (бывш. М. Н. Лаврова и К°)
Леонт. пер., домъ Лаврова.
1884.

Ку

PG 3467
M5 P4

ПѢСНИ О СИБИРИ.

Im Vaterlande
Schreibe, was dir gefällt:
Da sind Liebesbande,
Da ist deine Welt.

Goethe.

О чемъ угодно
Пиши въ странѣ родной:
Тамъ связь любви природной,
Тамъ—міръ твой.

Гёте.

Содержаніе.

	Стр.
Предисловіе	V
Посвященіе	VII
Слѣды	1
Цыганка	3
Кошмаръ въ лѣсу	5
Землетрясенія	7
Байкалъ	10
На заимкѣ	12
Черемуха	14
Лѣсная мелодія	15
У ледянаго озера	17
Идолы	19
Хамархàнъ	22
Дочери Мункò	27
Пѣсни бурята	30
Оморòча	33
Сѣверный олень	38
На ургонàхъ	40
На шитикѣ	44
Сынъ дезертира	46
Ленскія щеки	50
Двѣ рѣки	53
Пàвозокъ	56
Сахарбей	62

Стр.

Тайга 65
Бочка 67
Красная лилія 69

Спиртоносъ Патрушевъ 71
Старая казарма 83
Запѣвало 88
Таёжная опричнина 96
Аутодафе 101
Черезъ мракъ къ свѣту 104

Первый Спасъ 110
Новосёлы 115
Непомнящіе 120

Амурская труба 135

Уроки музыки 152
Враги 157

Ряженые 159
Князья 165
Друзья шайтана 168

Ночлежный домъ 172
Старый храмъ 177
26 октября 1881 179
На вершинѣ Урала 180
Семейная сцена 182
Пѣсни о Сибири 184

Примѣчанія 189

Собственность:
гр. и бар. Рарек
с. Владимировка 1921 г.

Пѣсни и Сибирь, Сибирь и поэзія! Кажется одной изъ двухъ,—и которой угодно,—достаточно, чтобы читатель не совсѣмъ охотно взялся за эту книгу.

Да, несомнѣнно: и далекій край, и литературное проявленіе одной изъ сторонъ человѣческой жизни теперь если не въ загонѣ, то въ забросѣ. Не стану роптать на это, не стану защищать ни той, ни другой; но съ искреннимъ сочувствіемъ къ обѣимъ, сочувствіемъ сына одной и работника другой,—помогу имъ въ этой книгѣ подать другъ другу руки: лучшее, что остается двумъ забытымъ, и не на лаврахъ почившимъ въ этомъ забвеніи.

Охотно вѣрю въ право читателя забыть и поэзію, и мою родину; охотно признаю многое, что такъ всецѣло владѣетъ его, не совсѣмъ веселой въ настоящее время, душой. Но тѣмъ охотнѣе вѣрю, что почва, на которой я свелъ Сибирь и поэзію, краски и черты, которыя даетъ первая второй, звуки, которыми отвѣчаетъ вторая,—не вовсе чужды помянутому „многому"...

Повѣетъ ли на читателя глубиной тайги, нашего сибирскаго лѣса; блеснетъ ли ему бѣлизна нашихъ снѣговъ; войдетъ ли онъ со мною въ юрту инородца; спустится ли въ пріисковую шахту; встрѣ-

титъ ли ссыльнаго, поселенца, или переселенца,— вѣрю, что во всѣхъ этихъ случаяхъ читатель найдетъ въ себѣ человѣка,—существо, которому доступны: природа и человѣкъ, красота и страданіе, трепетъ души и „проклятые вопросы"...

Да, я вѣрю, что не одну Сибирь и не одну поэзію найдетъ читатель въ этой книгѣ. Но желалъ бы вѣрить и въ то, что и ихъ онъ въ ней найдетъ, и не оттолкнетъ.

Если же послѣдняго не случится,—всей душой желалъ бы увѣрить читателя, что не Сибирь, и не поэзія виновны въ томъ, а эта слабая книга и ея.

Авторъ.

1883. 7 декабря.

Сарâна—царскія кудри, красная лилія.

Вамъ, земляки, я посвящаю
Мой слабый трудъ, мой первый трудъ,
И въ васъ—тому родному краю,
Гдѣ грезы прошлаго живутъ,—
Гдѣ вы, какъ я, быть можетъ, жили
Ребенка жизнію вполнѣ
И незамѣтно находили
Отраду въ темной глубинѣ
Глухаго лѣса, въ блескѣ снѣга
И въ аломъ отблескѣ саранъ;
Гдѣ на покосѣ, въ часъ ночлега,
Росистый нѣжилъ васъ туманъ,
И поселенца, иль бурята,
Иль полу-финна остяка́
Съ рукою вашею когда-то
Встрѣчалась грубая рука;—
Гдѣ вы, какъ я, быть можетъ, знали
Движенья первыя ума—
Понять, въ чемъ радость, въ чемъ печали,
Въ чемъ ложь и правда, свѣтъ и тьма.—

И въ васъ тѣмъ жарче посвящаю
Я, земляки, мой первый трудъ

Россіи всей—родному краю,
Гдѣ наши чаянья живутъ:
Гдѣ нашъ языкъ возникъ впервые
Средь вольныхъ дебрей и полянъ;
Гдѣ зрѣли боли вѣковыя
Родныхъ Сибири русскихъ ранъ;
Гдѣ наша кровь лилася въ предкахъ;
Гдѣ подаваема была
Намъ чужеземщина въ объѣдкахъ
Съ ея параднаго стола,
И дорогъ былъ иной, и скудно,
Но вѣрно выбранный кусокъ;
Гдѣ жить нерѣдко было трудно,
Но гдѣ не жить не всякій могъ;—
Гдѣ никогда не умолкали
Въ движеньяхъ сердца и ума
Родныя радости, печали,
И ложь и правда, свѣтъ и тьма!...

СЛѢДЫ.

Ясный день. Бѣгутъ лошадки ровно.
Мягкій снѣгъ, подъ взмахами копытъ,
Раздается съ ласкою любовной
И слегка взлетаетъ и скрипитъ.
Лучъ весны ужъ крадется по снѣгу,
Зелень хвоевъ темную согрѣвъ.
Ѣдемъ мы, и тихо вторитъ бѣгу
Ямщика задумчивый напѣвъ.

Ѣдемъ мы опушкою лѣсною.
Снѣга гладь, какъ мягкая постель,
Облегаетъ бѣлой пеленою
И сосну, и сумрачную ель.
И стоятъ въ нѣмомъ великолѣпьи
На краю ихъ стройные ряды.
А въ снѣгу и розсыпью, и цѣпью
Сѣть плетутъ извилины-слѣды.

Всѣхъ крупнѣй, уходитъ вереницей
Длинный слѣдъ—за тропкою тропа:

Волкъ бѣжалъ свирѣпо за волчицей —
То его тяжелая стопа.
Дальше слѣдъ: и круглъ, и остороженъ
Онъ идетъ, какъ ямокъ полоса;
Лапкой мягкой нѣжно онъ проложенъ:
За лисой здѣсь кралася лиса.

Вотъ слѣды — раскиданная грядка,
Словно кто въ испугѣ ихъ ронялъ:
Ихъ кидая всюду безъ порядка,
Здѣсь зайчиху заяцъ догонялъ.
И, ища у лѣса сердцевины,
Въ чащѣ лѣса тонутъ всѣ слѣды.
И, какъ стражи, сосны и осины
Замыкаютъ стройные ряды...

И стоятъ, таинственны и строги,
Въ серебрѣ и сумракѣ лѣса;
А за ними горные отроги
Алтарями всходятъ въ небеса;
И, горя на синемъ небосводѣ,
Пламя солнца жжетъ издалека...
Все властнѣй безмолвіе — въ природѣ,
Заунывность — въ пѣснѣ ямщика...

Цыганка.

Жаркимъ югомъ вѣетъ жгуче
Щекъ безкровныхъ желтизна,
И на станъ упала тучей
Косъ разбившихся волна.
Потонувъ въ бровяхъ глубоко,—
Словно зрѣетъ въ нихъ гроза,—
Неподвижностью востока
Меркнутъ черные глаза.
И, темны, упавъ какъ плети,
Руки мнутъ одежды край...

Протянувши руки эти,
Не шепчи мнѣ: Погадай!
Полубредомъ предсказанья
Обольстительно не лги...
Сбереги очей молчанье,
Неподвижно сбереги
Подъ разодранною шалью
Стана смуглаго изгибъ.

Видишь: травы слиться съ далью
Въ плавномъ трепетѣ могли-бъ;
Но безсильно, чуждъ движенью,
Въ жаждѣ стебель ихъ зачахъ:
Золотистой слабой тѣнью
Словно таетъ онъ въ лучахъ...
Безъ конца по кругозору
Въ солнцѣ дремлетъ степи ширь,
Словно грезитъ въ эту пору
Югомъ дальнимъ въ ней Сибирь...

Стой же тихо, и на фонѣ
Золотой высокой ржи—
Смуглымъ станомъ въ томномъ склонѣ
Эту грезу доскажи!....

Кошмаръ въ лѣсу.

Какая глушь! лѣса, лѣса и горы,
Да воды рѣкъ...
Находятъ отдыхъ взоры,
И глубже дышетъ человѣкъ.
Такъ далеки волненія столицы,
Безумный ихъ кошмаръ,
Безумныхъ дѣлъ былыя небылицы,
Безумныхъ мыслей жаръ,—
Запросы дня, волненія минуты,
Страданія годовъ,—
Неразрываемыя путы
Какъ будто рвущихся оковъ...

Глядишь во мглу незыблемаго бора,
Ласкаетъ зелень глазъ,
И для души, для памяти и взора —
Раздумья часъ...
Глядишь, внимая своему безмолвью,
А думы все ростутъ,
И тишина владѣетъ кровью.

Деревья вѣтви гнутъ
Надъ головой твоей печальной,
И тѣнь вѣтвей,
Какъ призракъ тучи дальной,
Ползетъ надъ ней.

И, блѣденъ весь, вдругъ въ сумракѣ зеленомъ
Поднимешь къ небу взоръ,
Готовъ отвѣтить стономъ
Ему въ упоръ...

Средь этой тихо дремлющей природы,
Вдали людей,
Еще яснѣй ихъ бѣды и невзгоды...
Какъ будто змѣй
Скользитъ въ тиши извивами удава
Съ вершинъ деревъ;
А въ зáросли и грозно, и лукаво
Таится левъ
И, грудью къ травамъ припадая,
Готовится къ прыжку.—
И ѣдешь, грезя и впадая
Въ знакомую тоску...
И вновь встаютъ былыя небылицы,
Безумныхъ мыслей жаръ;
И въ пульсѣ пульса той же все столицы
Стучитъ ударъ.

О слишкомъ ты безмолвна и жестока
И слишкомъ много говоришь,
Природы вѣчной и глубокой
Загадочная тишь!

Землетрясенія.

Испыталъ въ глубокомъ дѣтствѣ
Я ударъ землетрясенья:
Словно близко гдѣ въ сосѣдствѣ
Шло подземное волненье;
Шло и глухо назрѣвало
И таилося недаромъ:
Тихимъ грохотомъ ставало,
Стало тягостнымъ ударомъ.
Вся земля поколебалась,
И кресты упали съ храмовъ.
Сотрясенье повторялось
Утомительно упрямо,
И за щелью щель на стѣнахъ
Раздвигалася съ размаха...
Гнулись мальчика колѣна
Отъ волненья, не отъ страха...

Позже — въ юношествѣ жгучемъ
Я иные зналъ удары:
Сотрясеньемъ неминучимъ

Дерзкой мысли злыя чары
Въ глубинѣ души свободной
Безвозвратно открывали
Въ мракѣ жизни всенародной
Свѣта полныя печали;
И, подкопаны упрямо
Темнымъ трепетомъ сомнѣнья,
Пали вдругъ съ душевныхъ храмовъ
И кресты и украшенья;
И рвались оковы плѣна
Мысли пламенной и гордой...
Не сгибалися колѣна,
И уста сжимались твердо...

И иные зналъ удары
Я и въ юности, и нынѣ:
Разцвѣтали пѣсенъ чары,
Какъ цвѣты въ нѣмой пустынѣ;
Въ сердцѣ, жаждущемъ участья,
Были пѣснями — молитвы...
Грезы, дышащія страстью,
Какъ мечи во время битвы,
Сотрясались и горѣли,
Звали къ смерти и побѣдамъ...
Какъ въ стѣнахъ разбитыхъ щели —
Сердца раны, слѣдъ за слѣдомъ,
Оставляли знаки плѣна,
Знаки рукъ жестоко милыхъ...
Гнулись трепетно колѣна,
Гасла гордость, гасли силы...

О, страна землетрясеній!
Видно, сынъ я твой не даромъ:
Я люблю моихъ мученій
Пламя съ блескомъ и угаромъ;
Я люблю въ нихъ ожиданье
Грозной бури въ вихрѣ маломъ...
Ты, мой край,—гласитъ преданье,—
Кончишь дни свои проваломъ,
И, ударами встревоженъ,
Надъ тобой Байкалъ сомкнется.
Но, — гласитъ преданье то же —
Только буря соберется,
Съ ней въ борьбу Байкалъ вступаетъ,
И въ борьбѣ лишь, въ грозномъ спорѣ —
Все, что мертво, — извергаетъ
Изъ себя Святое Море.

Байкалъ.

Тайга—дикая лѣсная мѣстность.

Былъ Байкалъ. Ребенкомъ малымъ
Я хватался за борта:
Судно спорило съ Байкаломъ.
Волнъ вскипавшихъ высота
Мнѣ въ лицо кидала пѣну.
Я былъ твердъ и этимъ гордъ,
И покинуть въ страхѣ бортъ
Почиталъ бы за измѣну...

Не ребенокъ я, Байкалъ,
И пришелъ къ тебѣ я снова.
Ледянаго не срывалъ
Ты съ груди еще покрова;
И съ презрѣньемъ ледъ нѣмой
Говорилъ мнѣ въ ту минуту:
— Что, загнало, братъ, въ каюту
Васъ житейскою волной!

Лучше шелъ бы ты по склону
Горъ моихъ въ мою тайгу:
Ранъ души я не затрону,
Ну, а душу сберегу.
Поведу съ тобой, какъ съ сыномъ,
Рѣчь о дѣтствѣ объ одномъ....
И заискрилось по льдинамъ
Солнце яркимъ серебромъ...

И, казалось, въ этомъ блескѣ
Таетъ ледъ, встаетъ волна,
И въ глухомъ грохочетъ плескѣ
Ледяная глубина:
— Иль опять бѣги отсюда
Быть чужимъ въ своей борьбѣ....
Я же встану изъ подъ спуда
Смѣлой бурей вслѣдъ тебѣ.

На заимкѣ.

Заимка—дача.

О скажи мнѣ, старый садъ,
Почему такъ сердце бьётся,
Почему не оторвется
Отъ глухой аллеи взглядъ?
Ты назначенъ на продажу,
Хладнокровно оцѣнёнъ...
Почему же, сердца стонъ,
Я съ тобой никакъ не слажу?..

Но молчитъ деревъ стѣна;
Въ томъ молчаньи нѣтъ укора.
Вся бесѣдка безъ призора
Разрушенью предана:
Въ ней лишь видно паутину
Старожила паука.
И украдкой, и слегка
Старый прудъ сбираетъ тину.

Все старѣетъ и молчитъ.

Говоритъ во мнѣ лишь дѣтство,
Жизни прожитой наслѣдство
Говоритъ, и говоритъ:
— Много чувствъ и помышленій
Ты невольно продавалъ,
И унорно умолкалъ
Съ каждымъ торгомъ Дѣтства Геній.

Будь доволенъ ты и тѣмъ,
Что, страдая, не старѣетъ,
Разрушаясь, только зрѣетъ
Геній тотъ, угрюмъ и нѣмъ,
И съ молчаньемъ часто рядомъ
Бережетъ нѣмую рѣчь
Для немногихъ рѣдкихъ встрѣчъ
Съ неподкупнымъ старымъ садомъ...

Черемуха.

У берега милой, родимой рѣки
Съ роднаго я дерева вѣтку сорвалъ;
Посыпались снѣгомъ съ цвѣтовъ лепестки,
И снѣгъ этотъ руку мою осыпалъ.

И бережно снѣгъ тотъ сжималъ я рукой...
Не таялъ онъ, таяло сердце мое:
Проснулося все, что дарило тоской,
Что радость сулило — проснулося все.

Проснулось и дѣтство у милой рѣки,
И юность въ столицѣ большой, и тѣ дни,
Что такъ недалёки и такъ далеки,
Такъ схожи съ цвѣтами въ лѣсистой тѣни...

И таяло сердце, — и всею душой
Украсить желалъ въ упоеньи тоски
Я черныя кудри въ столицѣ большой
Черемухой бѣлой съ родимой рѣки....

Лѣсная мелодія.

Коза—дикая коза (косуля) оленьей породы.

Лѣсъ глубокій. Здѣсь то козы
Клонятъ въ бой свои рога,
Лишь осенніе морозы
Тронутъ инеемъ луга; —
Въ томъ бою рога роняютъ
И подругъ они берутъ. —
Травы нѣжно оттѣняютъ
Рогъ упавшій тамъ и тутъ...

Подними его — невольно
Взглянешь ты въ лѣсную тьму. —
И плѣнительно и больно
Будетъ взгляду твоему
Ждать все тише, неподвижнѣй:
Не скользнетъ ли гдѣ коза,
Не затеплятся ли въ ближней
Чащѣ тихіе глаза,

Здѣсь память былыхъ огорченій
Мучительно сладкой стаетъ;
И видишь, что прежнія боли
И отблески новыхъ отрадъ,
Какъ зелень и ледъ,—поневолѣ
Другъ друга въ душѣ сторожатъ...

Сомнѣнья надежду туманятъ,
Себя такъ мучительно жаль...
И вѣришь, что счастье настанетъ,
И знаешь—настанетъ печаль...
И нѣжно такъ ледъ голубѣетъ
Въ тѣни отъ зеленыхъ вѣтвей,—
И тихо такъ вѣтка слабѣетъ
И никнетъ, застывъ, тяжелѣй...

Идолы.

Бурятъ—туземецъ монгольскаго племени.

Идетъ по лѣсу тихое дыханье,
Порывомъ вѣтра весь охваченъ онъ.
Стволы встрѣчаютъ важнымъ колыханьемъ
Стволовъ сосѣднихъ ропотъ и поклонъ.
То вся застывъ зелеными стѣнами,
То будто вся проснувшись ото сна,
Шумитъ листва текучими волнами:
Бѣжитъ по ней воздушная волна...

Проникнуть въ глубь лѣсную солнцу трудно,
Но вѣтеръ въ ней прогалины открылъ:
Раздвинувъ боръ, дремавшій безпробудно,
Онъ солнца лучъ невольно пропустилъ.
И ясный лучъ въ таинственныхъ предѣлахъ
Затеплился отрадной теплотой
На челюстяхъ сурово помертвелыхъ:
Тамъ конскій черепъ, тяжкій и пустой,

Повѣшенъ былъ надъ шкурой лошадиной;

И тяжко вѣтеръ шкурой шелестѣлъ,
Какъ будто звукъ печальный и единый
У ней извлечь томительно хотѣлъ.
Но этотъ звукъ средь тихаго шептанья
Листвы зеленой, полной тайныхъ грёзъ,
Былъ шорохомъ глухаго колебанья
И холодъ смерти пó лѣсу пронесъ.

И солнца лучъ, спускаясь по оскалу
Зубовъ остывшихъ къ впадинамъ очей,
Ихъ бѣлизну, подобную опалу,
Напрасно жаждалъ тронуть горячѣй,
Напрасно въ сгибахъ кости утопая,
Онъ поцѣлуемъ жаркимъ ихъ обжегъ:
Сіяла кость лишь холодомъ—слѣпая—
Ума слѣпаго жертва, иль божокъ...

А лѣсъ вокругъ парчей своей зеленой
Мерцалъ, какъ изумрудомъ, въ полумглѣ;
Сосна свѣтлѣла и́глистой короной,
Поднявъ ее на трепетномъ стволѣ;
И ароматъ смолы до опьяненья
Лился́ сквозь язвы плачущей коры:
Янтарныхъ слезъ кипѣло въ ней скопленье,
Обильно выступало отъ жары...

И лѣса тишь, казалось, въ тихомъ шумѣ
Дышала глубже, строже и властнѣй...
И грезилъ я:—въ лѣсу, въ безмолвной думѣ,
Охваченъ весь мельканіемъ тѣней,

Весь опьяненъ смолистымъ ароматомъ,
Былъ человѣкъ съ открытой головой,—
И черепъ конскій жилъ передъ бурятомъ
Со шкурой конской жизнію живой.

Бурятъ стоялъ. Блѣднѣли смугло щеки,
Въ косыхъ глазахъ мерцалъ священный страхъ.
А по деревьямъ тяжкій и широкій
Далекой бури двигался размахъ.
Палъ ницъ бурятъ... И грезилъ я невольно,
Что то не онъ, а самъ я ницъ лежу,
И, весь въ молитвѣ, трепетно и больно
И ужасъ, и отраду нахожу...

О, не тебѣ молюсь я, черепъ бѣлый!—
Тебѣ, природа, полная чудесъ,
Тебѣ, о мохъ, сухой и посѣдѣлый,
Тебѣ, о кедръ, достигшій до небесъ!
И я молюсь, и все жъ не вѣрю счастью,
Что я природы жизнью лишь упьюсь,—
Что я не смерти тайному безстрастью,
Не шкурѣ, и не черепу молюсь!...

Хамарханъ.

Рогатая винтовка — винтовка съ подставкой на подобіе рожекъ.
Юрта—жилище бурятъ.
Арба—двухколесная телѣга.
Бачка—сокращенное «батюшка».
Дабинный—изъ дабы, синей бумажной матеріи.
Улусъ—бурятское селеніе.

Я помню: стонала по пáжитямъ буря,
Со злобой глухою неслась по лѣсамъ.
И небо, суровыя очи нахмуря
И боръ освѣщая,—безмолвный, какъ храмъ,
Въ минуту затишья и грома, и вьюги,—
Кидало намъ молніи прямо въ глаза.
И вдругъ словно съ неба упала слеза,
И трáвы нагнулись, какъ будто въ испугѣ:
Ихъ ливнемъ и градомъ жестоко сѣклò...
А дальній край неба сіялъ ужъ свѣтло...

Сбирали грибы мы. Нашъ таборъ смущенный,
Промокшій до нитки, спѣшилъ ужъ домой.

Къ кострамъ потухавшимъ слетались воро́ны.
И лошади ржали, тряся головой.
И вдругъ, изъ глубокаго тихаго бора,
Оттуда, гдѣ козы дѣтей сторожатъ,
Ступая беззвучно и ловко, и споро,
На встрѣчу намъ вышелъ охотникъ бурятъ.
Махая рогатой своею винтовкой,
Онъ отдалъ поклонъ угловато-неловко.

Въ кожанѣ потертомъ, безъ шапки, босой,
И ростомъ, и видомъ комично-невзрачнымъ,
Казался онъ духомъ зловѣщимъ и мрачнымъ.
Лишь глазъ его маленькихъ вырѣзъ косой
На личикѣ желтомъ, скуласто широкомъ,
Лукавъ, добродушенъ и радостенъ былъ.
И, радуясь, всякій невольно забылъ
О мокрой одеждѣ, о домѣ далекомъ...
И ножки кривыя пошли семенить...
Тянулся ихъ слѣдъ—аріаднина нить—

По мокрой травѣ, и, за нимъ поспѣшая,
Достигли мы ю́рты,—обсохнуть вошли:
На небо дыра открывалась большая;
Средь пола—сухой и убитой земли—
Дымился костеръ, и за клубами клубы
Кидалъ сквозь отверстіе на́ небо дымъ.
Изъ сосенъ подрубленныхъ сбитое грубо.
Обтянуто кожами,—видомъ своимъ
Казалось намъ раемъ жилище бурята.
Подъ кровомъ желаннымъ мычали телята,

И грязныя дѣти ползли по землѣ.
Деньгами гремя, какъ хохлуша монистомъ,
Возилась бурятка въ углу, въ полумглѣ;
И въ чашкѣ сосновой, большой и нечистой,
Она поднесла намъ вино-тарасунъ
И àрсу-питье: все дары кобылицы.
И тутъ же обломанной áрбы ступи́цы
Лизалъ, словно медъ, жеребенокъ-сосунъ,
И, матери сонной дѣтенышъ примѣрный,
Слѣпней онъ отмахивалъ хвостикомъ мѣрно.

Одежда сушилася быстро у насъ.
Все ярче и ярче костеръ разгорался.
Хозяинъ съ гостями шутилъ и смѣялся:
Блестѣла лишь пара лукавая глазъ;
Со лба, изъ подъ черныхъ и жестко-короткихъ
Волосъ упадали и влага, и потъ.
Изъ фляги хлебнулъ онъ у путниковъ водки,
Засунулъ свою носогрѣйку онъ въ ротъ
И, у́гли въ ней щупая пальцемъ корявымъ,
Старался казаться смѣшливо лукавымъ...

Весь мокрый, какъ былъ, не сушась—не бѣ-
да!—
За поясъ заткнулъ у кожана онъ полы;
И, маленькій, грязный, но добрый, веселый,
Шутилъ онъ со мною, ребенкомъ тогда.—
На корточки сѣлъ онъ:—Что, бачка, штанишки
Сушила?—кряхтѣлъ онъ, куря предо мной.
И въ руки, въ утѣху, еловыя шишки
Совалъ мнѣ усердно одну за одной

И, ими играя, кидалъ на ладоняхъ
И мнѣ толковалъ о козуляхъ и кóняхъ...

Любуясь костромъ, я бурята спѣшилъ,
Что сухъ я и веселъ—вполнѣ успокоить.
А онъ уже порцію водки удвоить
Униженно-робко у старшихъ просилъ;
И съ гордостью тутъ же показывалъ сына:
Ребенокъ былъ грязенъ, уродливъ и голъ,
Но крѣпокъ и гибокъ, какъ въ полѣ талúна...
Но солнце сіяло, и ливень прошелъ,
И мы уѣзжали. Доволенъ и пьянъ,
Смѣялся блаженно намъ въ слѣдъ Хамарханъ.

Года промелькнули, и снова все тоже
Увидѣлъ лицо я, и снова на немъ,—
На этой скуластой, смѣющейся рожѣ
Глаза загорались лукавымъ огнемъ;
Въ своемъ полушубкѣ вонючемъ и рваномъ,
Въ лоснящихся дегтемъ дабинныхъ штанахъ,
Съ короткою трубкой въ блестящихъ зубахъ,—
Все тѣмъ же явился онъ мнѣ Хамарханомъ;
Лишь сталъ онъ съ годами какъ будто грязнѣй,
Наивно-болтливѣй и нагло-пьянѣй...

Года промелькнули: и бурей иною
Иною грозою дышали они...
Тѣснимся, какъ таборъ, мы смутной толпою,
Ворóны, ликуя, садятся на пни,
У нашихъ костровъ потухающихъ грѣя

Зловѣщія крылья и роясь въ золѣ.
И снова я вижу вождя-чародѣя,
Ведущаго къ ю́ртѣ—согрѣться въ теплѣ;—
Забытаго, грязнаго вижу бурята...
И сердце страдаетъ и горько, и свято...

Я бѣдныя, грязныя вижу толпы,
Я цѣлые вижу степные улусы...
Отравлены праздностью нищей ихъ вкусы:
Корыстной наживы лазейки-тропы
И въ дебри проникли, и тамъ поднимаютъ
Къ устамъ обездоленнымъ дикій дурманъ!
И дѣтства картины во мнѣ возникаютъ,
И ласки, и шутки твои, Хамарханъ!..
И мнѣ предстаешь ты въ страданьи знакомомъ
Ироніи горькой смѣющимся гномомъ...

Дочери Мунко.

Посвящается И. С. Стрѣкаловскому.

Маржà нъ—красное ожерелье.
Дабà—бумажная матерія.
Калымъ—свадебный выкупъ за невѣсту.

Старый бурятъ—сѣдовласый Мункò;
Дочери три у него;
Въ дальней степи́ между горъ глубоко
Юрта дымится его.
Русскій однажды въ ту юрту зашелъ:
Золота шелъ онъ искать.
Ласку, радушье онъ въ юртѣ нашелъ;
Легъ онъ немедленно спать.

Только къ постели подходитъ Мункò.—
Снявъ рукавицу съ руки,
Молча Мункò набивалъ глубоко
Въ трубку свою корешки.
Молча и долго онъ ротъ вытиралъ,
Молча затылокъ чесалъ,

Молча съ улыбкой кисетъ подобралъ,
Плюнулъ Мункò, и сказалъ:

Дѣвки—ихъ три молодыхъ у меня—
Въ травы, за юртами тутъ,
Въ степь твоего угоняли коня...
Пусть тебѣ дѣвки споютъ.—
Дочекъ привелъ онъ: на шеѣ маржанъ,
Станъ ихъ въ рубаху одѣтъ,
Жесткія косы ложатся на станъ,
Грудь вся въ подвѣскахъ монетъ.

Грязны рубахи изъ синей дабы,
Черны босыя ступни;
Скулы широкія, узкіе лбы;
Очи, какъ въ стéпи огни,
Робко мерцая изъ пóднятыхъ скулъ,
Меркнутъ въ разрѣзѣ косомъ:
Вѣки зрачекъ ихъ едва растянулъ,
Чернымъ горя огонькомъ.

Взоръ ихъ блеснулъ, и одинъ переливъ,
Дикъ и младенчески грубъ,
Въ стонѣ крикливомъ какъ будто застывъ,
Вышелъ изъ темныхъ ихъ губъ:
«—Русскій желанный, душа молодецъ,
Обликомъ складенъ и бѣлъ;
Вóлосъ его — какъ волна у овецъ;
Взглядъ его свѣтелъ и смѣлъ.

Яркимъ маржаномъ алѣютъ уста,
Вьется со щекъ борода...
Русскій желанный, душа, красота,
Жить тебѣ вѣки-года!
Степь тебя манитъ, и путь твой далекъ,
Конь не утратитъ твой силъ...
Русскій желанный, душа гостенёкъ,
Жилъ бы ты съ нами, да жилъ!

Конь твой найдетъ кобылицъ въ табунѣ,
Въ юртѣ постель ты найдешь...
Русскій желанный—повѣришь ты мнѣ,
Русскій, душа—не уйдешь?...»
Пѣли бурятки, а ночь въ синевѣ
Сумрака звѣзды зажгла,
Степь по высокой росистой травѣ
Тихо туманъ подняла...

Пѣли бурятки, все пѣли... Межъ тѣмъ
Взоръ ихъ среди полумглы,
И неподвиженъ, и жалобно нѣмъ,
Словно скрывался въ скулы...
Слушалъ ихъ русскій, и думалъ-гадалъ:
—Жиламъ гдѣ быть золотымъ?—
Слушалъ Мунко ихъ, и думалъ:—не малъ
Будетъ за дѣвокъ калымъ!

———

Пѣсни бурята.

Искусство для искусства.

Принципъ эстетики.

Таежный—употребляемый па золотыхъ пріискахъ.
Улусъ—селеніе бурятъ.
Лама̀—буддійское духовное лицо.
Шама̀нъ—жрецъ шаманства (идолопоклонства).

Идетъ ли онъ степью, иль лѣсомъ онъ бродитъ,
Внимаетъ ли а́рбы скрипучимъ колесамъ,
Лѣнивый ли меринъ подъ нимъ не находитъ
Дороги по топкимъ прибрежнымъ откосамъ;
Винтовку-ль съ рогатою ножкой подъ ство́ломъ,
Косу ли несетъ онъ, согнувшись сутуло;
Надъ кладью ли гнется въ баркасѣ тяжеломъ,
Ружейное-ль чиститъ онъ шомполомъ ду́ло;
На тройкѣ-ль гоньбою почтовой онъ занятъ
И мучитъ лошадокъ своихъ по наряду, —
Одинъ переливъ повторяя, онъ тянетъ—
Поетъ онъ безъ пѣсенъ, поетъ онъ безъ ладу...

František Ráček
profesor obch. akademie.

Дорогой онъ видитъ: увла́жились травы
Горящей на солнцѣ какъ перлы росою,—
И тихо поетъ онъ безъ всякой забавы—
Серьезною нотою—нотой одною:
«Роса на зеленомъ, какъ пламя на черномъ;
Какъ искра на у́гляхъ, на травахъ росинка...»
И эти слова повторяетъ упорно:
Такъ вьется по сте́пи все таже тропинка...

Онъ пастбище видитъ: табунъ отдыхаетъ,
И бродитъ понуро лѣнивое стадо;—
Онъ пѣснь о росѣ и угля́хъ забываетъ,
И съ бо́льшимъ упорствомъ, и съ бо́льшей отрадой
Поетъ онъ, поетъ, повторяя все тоже:
«Корова теленка пустила подъ брюхо,
Отъ о́водовъ лошадь стоитъ на сторо́жѣ:
И хвостъ подняла, и закинула ухо...»

Деревней онъ ѣдетъ: идетъ изъ харчевни
Степнякъ-мужичекъ съ носогрѣйкой таёжной;
И съ новою пѣсней въ улусъ изъ деревни
Рысцей онъ трясется уныло-тревожной.
Поетъ онъ: «Идетъ человѣкъ вонъ оттуда,
Идетъ онъ, и выпилъ, и куритъ доро́гой...
Бурятъ на лошадкѣ покуритъ не худо,
А слѣзетъ съ лошадки и выпьетъ немного...»

Въ улусъ онъ пріѣхалъ: зима разыгралась,
Отъ холода онъ и скотина страдаетъ;

Все тѣло бурята отъ холода сжалось,
Зубъ нà зубъ отъ дрожи едва попадаетъ...
Ворчитъ на распѣвъ онъ, обвернутый въ шкуры,
И въ угли ногами замерзшими тычетъ:
«Снѣга безотрадны, сердиты и хмуры—
Да солнышко травку зеленую скличетъ...»

Зима миновала: хлопочутъ бурята;
Раскрылись ихъ пашни утробою бурой.
Но ѣдетъ чиновникъ.—Ей живо, ребята,
Справляйте повинности ваши «натурой»:
Дорогу расчисти — казнѣ поработай...
И мнѣ поклониться, небось не упрёшься...—
Бурятъ напѣваетъ, бредя съ неохотой:
«Чиновникъ уѣхалъ—другаго дождешься!...»

Наѣзжей кокардой жестоко запуганъ,
Сурово напуганъ ламòй и шаманомъ,
Дешевымъ презрѣньемъ безмолвно поруганъ,
Опóенъ кабацкимъ дешевымъ дурманомъ;
Въ безлюдной трущобѣ зимою забытый,
Холодной весною скотомъ обездоленъ,
Порою голодный, порой полусытый,
Порой изувѣченъ, порою и боленъ—
И въ тяжкой болѣзни, какъ овцы и кони,
Въ предчувствіи смерти и мукъ безсловесенъ,—
Средь дыма и сырости, грязи и вони —
Поетъ онъ безъ ладу, поетъ онъ безъ пѣсенъ...

Оморо́ча.

Оморо́ча—берестовая лодка тунгусо́въ.
Дого́ръ—товарищъ, пріятель.
Гольцы—голыя скалистыя вершины.
Тайме́нь—крупная рыба.
Ка̀мысъ—обувь изъ оленьей шкуры.

Плыветъ омороча по тихой рѣкѣ,
Плывутъ тунгусы́ въ ней догоры.
Лѣса побережья, какъ мохъ, вдалекѣ
Окутали темныя горы;
И въ лунномъ сіяньи блѣднѣютъ гольцы
Своей обнаженной вершиной.
И, весла поднявъ осторожно, пловцы
За стаей слѣдятъ лебединой.

Чуть плещетъ широкій и тихій Вити́мъ
Въ берестовый бортъ оморочи,
И звѣзды чуть видно мерцаютъ надъ нимъ
Въ мерцаньи безсумрачной ночи.
Какъ день, эта ночь хороша и свѣтла,
Какъ день на Витимѣ, — безмолвна.

И падаютъ капли лѣниво съ весла̀,
И весла вздымаются ровно...

И, словно внимая чуть слышной волнѣ,
Прикрытый изорваннымъ бреднемъ,
Тайме́нь оглушенный въ той лодкѣ на днѣ
Трепещетъ въ дыханьи послѣднемъ.
И тихо бесѣду ведутъ тунгусы́;
Толкуетъ старикъ посѣдѣлый:
Едва шевелятся сѣдые усы.
Вися надъ бородкою бѣлой;

Въ широкія ску́лы легли борозды,
Какъ рытвины въ камень песчаный;
У глаза закрытаго видны слѣды
Глубокой залѣченной раны;
Но столько спокойствія въ глазѣ другомъ
И тихаго счастія свѣтитъ,
Что, слушая чутко въ почтеньи нѣмомъ,
Товарищъ словцомъ не отвѣтитъ.

Безмолвно раскрылъ онъ глаза и уста,
Лишь зубы, какъ кость, его блещутъ;
И тѣни прибрежья, мѣняя цвѣта,
На обликѣ смугломъ трепещутъ.
Внимаетъ дого́ру дого́ръ молодой,
Горятъ его глазки какъ щели,—
И, станомъ склоняясь слегка надъ водой,
Весломъ онъ снимается съ мели.

Внимаетъ до́гору дого́ръ молодой,
И старый дого́ръ повѣствуетъ

О томъ, что знакомство съ великой бѣдой
Потерянный глазъ знаменуетъ;
О томъ, какъ въ глубокой трущобѣ тайги́
Онъ крался съ винтовкой кремневой;
Какъ встрѣтились грудью внезапно враги,
Умылись струею багровой...

Въ объятьяхъ могучихъ безсильный тунгусъ,
Какъ пойманный ужъ, изгибался
И думалъ невольно: «авось увернусь:
За ка́мысомъ ножикъ остался»...
Согнулся онъ въ лапахъ и выхватилъ ножъ,
Имъ сунулъ куда то, какъ въ бредѣ...
И,—гдѣ потеряешь ты, тамъ и найдешь—
Охотникъ сидѣлъ на медвѣдѣ...

И всталъ онъ, и кровью весь теплой обли́тъ,
Искалъ онъ цѣлебныя травы;
И ими лѣчился. — И свѣтелъ былъ видъ
Деревьевъ надъ нимъ величавыхъ...
И, по̀лно проникнутъ разсказомъ своимъ,
Казался старикъ великаномъ...
И вторилъ плесканіемъ тихимъ Витимъ,
И бѣлымъ курился туманомъ...

Смотрѣлъ на дого́ра дого́ръ молодой;
И и́скрились глазки какъ щели...
И, тихо вздымаясь надъ синей водой,
Лѣса и высоты синѣли...
Плыла оморо́ча... Вдругъ бѣшеный свистъ

Нарушилъ безмолвье природы,
И дрогнулъ старикъ, какъ осиновый листъ,
И рябью подернулись воды.

И что-то шипѣло въ глухомъ торжествѣ
И грудью неслось къ оморóчѣ;
И звуки въ загадочномъ томъ существѣ
Ставали все злѣй и короче;
И сыпались искры, и въ зеркалѣ водъ
Сверкали, какъ очи шайтàна;—
И грозно, и властно вознесъ пароходъ
Высокую грудь изъ тумана.

Застыли догóры. Въ ихъ глазкахъ косыхъ
Блеснуло недоброе пламя.
Разсказъ старика о медвѣдѣ затихъ,
А все шевелилъ онъ устами...
И трепетно двигались старца уста,
Бородка тряслась въ безпорядкѣ, —
И въ обликѣ блѣдность съ румянцемъ цвѣта
Мѣняли, какъ бы въ лихорадкѣ.

Все трепетно двигались старца уста,
Какъ будто сказать не умѣли...
А въ сердцѣ вставала нѣмая мечта,
И и́скрились глазки какъ щели...
И юношей старца нѣмыя слова
Не поняты быть и могли-бы,—
Да зналъ онъ, что здѣсь нагружаютъ дрова,
За водку здѣсь купятъ и рыбы...

И выпьютъ ту водку догóры до дна,
Пусть будетъ ея и излишекъ...
И въ жадности гнулась все ниже спина
У слабыхъ дрожащихъ людишекъ.
И гнѣвная рябь не покинула водъ,
И гнѣвно туманились горы...
И шелъ-приближался, какъ царь, пароходъ,
И ждали-томились догóры...

Сѣверный олень.

Онъ стоялъ передо мною,
Наклонивъ свои рога;—
И глубокой тишиною
Съ нимъ дѣлилася тайга.
И глаза его нѣмые,
Словно внять спѣшили ей,—
Становились все покорнѣй,
Все задумчиво темнѣй.

И вожакъ стоялъ съ нимъ рядомъ
И ласкалъ его слегка,—
И олень привѣтнымъ взглядомъ
Поглядѣлъ на вожака...
Поглядѣлъ на якутà я:
Слабъ и узокъ онъ въ плечахъ,
Но таитъ и умъ, и твердость,
И терпѣніе въ очахъ...

Поглядѣлъ на якутà я,
На тебя взглянулъ, олень, —

И по сердцу, замирая,
Пробѣжала грусти тѣнь.
Я взглянулъ на эти горы,
На деревья въ ихъ тѣни:
Здѣсь снѣга сошли недавно,
Скоро лягутъ здѣсь они,

И закроютъ прихотливо
И отлогость, и оврагъ,—
И по снѣгу терпѣливо
Заскрипитъ твой легкій шагъ;
Лыжи легкія помчатся,
Побредетъ въ снѣгу якутъ;
И деревья на морозѣ
Трескъ и жалобы начнутъ...

Убаюканъ этимъ трескомъ,
Съ пухомъ снѣга на очахъ,
Ты пойдешь, залитый блескомъ
Солнца, яркаго въ снѣгахъ;
Ты пойдешь подъ вой бурана.
Ты пойдешь въ морозъ и тишь,—
И къ хозяину все также
Тихій взоръ свой обратишь....

На ургонáхъ.

Посвящается Сашѣ и Андрюшѣ Герасимовымъ.

Ходить на ургонà, ургонàчить—разорять норы полевыхъ мышей.
Сарàна—алая лилія.
Зарóдъ—большой стогъ сѣна.
Копарýля—палка для раскапыванія норъ.

Дышетъ цвѣтами все Забайкалье.
Царскія кудри алыхъ саранъ
Никнутъ устало съ тихой печалью.
Словно слезинки, бѣлый туманъ
Крупныя капли въ нихъ оставляетъ,
Тяжки тѣ капли—никнутъ цвѣты.
Близится осень, степь увядаетъ,—
Вянешь, сарана, вянешь и ты!...

Крадется тихо мышь полевая,
Роетъ подъ степью тайный свой ходъ;
Дышетъ прохладой почва сырая,—
Корни сараны просятся въ ротъ...
Луковицъ сладкихъ сочную плёнку

Острые зубки скоро нашли;—
Острые глазки мордочки тонкой
Свѣтятъ во мракѣ влажной земли;
Корень за корнемъ мышь подгрызаетъ,
Корень за корнемъ носитъ въ запасъ;—
Свой амбарушекъ мышь наполняетъ.
Ярче все свѣтитъ кругленькій глазъ...
Мягкія лапки гонятъ да гонятъ
Вслѣдъ за сараной хлѣба зерно,—
Чести хозяйки мышь не уронитъ:
Будетъ подъ зе́млю все снесено.

Осени утро холодомъ вѣетъ,
Ясное солнце су́литъ тепло;
Нива снопами ярко желтѣетъ,
Лугъ, весь въ зародахъ, смотритъ свѣтло.
Съ шумомъ веселымъ, крикомъ и гамомъ
Сыплются въ стѐпи шайки ребятъ;
Скачутъ по кочкамъ, скачутъ по ямамъ,
Зубы на солнцѣ въ смѣхѣ блестятъ.
Рядомъ съ бурята черной щетиной
Русыя кудри вьются въ кольцо;
Степи монгольской смуглаго сына
Отблескомъ желтымъ блещетъ лицо;
Русскія лица нѣжно румянитъ
Ранняго утра легкій морозъ,—
Свѣтлые глазки то затуманитъ
То вдругъ прояснитъ смѣхомъ до слезъ.
Глазки монголовъ бойки, и ко́сы,—
Словно лукавы въ той косинѣ.

František Ráček
profesor obch. akademie.

Рѣя на солнцѣ, оводы, осы
Крыльями блещутъ будто въ огнѣ;—
И переливы рѣчи гортанной
Льются жужжанью óводовъ въ ладъ.
Русскія дѣти бойко и странно
Вторятъ картавой рѣчи бурятъ,
И, какъ родною, рѣчью той съ жаромъ
Между собой ведутъ разговоръ.

Степь закурилась, трóнулась пàромъ:
Солнце согрѣло степи просторъ.
Дѣти затихли, мышь карауля—
Такъ затихаетъ въ морѣ волна.
Ужъ на готовѣ ждетъ копаруля,—
Ждетъ—замираетъ въ пальцахъ она...
Дѣти затихли, словно застыли...
Вскрыли утробу влажной земли:
Мыши лазейку дѣти открыли—
Въ ходъ копарули бойко пошли...

Солнце все жарче грѣетъ поляну,
Паръ приподнялся, словно дымокъ.
Въ ротъ отправляютъ дѣти сарану,
Зерна ссыпаютъ бойко въ мѣшокъ:
Тятькѣ снесутъ ихъ. Алыя губы
Въ сокѣ сараны стали алѣй;
Бойко работаютъ дѣтскіе зубы—
Ищутъ саранъ сочнѣй и спѣлѣй.
Словно звѣрята, дѣти бурята
Сладкіе корни молча грызутъ;

Темны и грязны всѣ, угловато
Въ землю впиваясь, роютъ-ползутъ;
Темныя скулы влажны отъ пота,
Темныя губы въ сладкомъ соку...

Русскіе дѣти шепчутъ:—А что то
Мышь-то, молъ, братцы, вгонимъ въ тоску:
Молъ, раззорили.—Правда ли, значитъ,
Будто съ печали давится мышь,
Если запасъ у ней съургоначатъ?—
— Правда, ребята: видѣлъ я, слышь,
Всунетъ въ репейникъ шейку межъ вѣтокъ,
Да и повиснетъ—ножки согнетъ...
— Жалко и ей!... рѣшилъ малолѣтокъ,
Пару саранокъ всунувши въ ротъ.

На шитикѣ.

Ши́тикъ—лодка, обшитая досками, съ будкой для пассажира.

Таёжный—дикій, лѣсной.

Колеблютъ шитикъ волны Лены,
И, словно въ злобномъ торжествѣ,
Печальныхъ мыслей перемѣны
Въ печальной бродятъ головѣ...

О, эта гладь рѣки великой
И глушь таёжныхъ береговъ
Въ ихъ тишинѣ сурово дикой,—
Какъ міръ невѣдомыхъ боговъ,—

Умъ угнетутъ благоговѣньемъ,
Подавятъ грозной красотой;
Заставятъ сердце откровеньемъ
Быть жизни, въ шумѣ прожитой;

Разбудятъ старыя печали
И боль давно закрытыхъ ранъ;

Изъ глубокó-тѣнистой дали
Поднимутъ мглистый свой туманъ;

Все небо тучами обложатъ
И, вызвавъ бурю и грозу,—
Съ твоей слезой сольютъ, быть можетъ,
Дождя холодную слезу!...

Сынъ дезертира.

Мота́узъ—тонкая бичевка.
Сходни—перекидные мостки съ судна на пристань.

На Ленѣ великой есть городъ забытый.
Къ нему издалёка пришелъ пароходъ.
Народъ, появленьемъ новинокъ несытый,
Слонялся по бе́регу взадъ и впередъ:
На все поглазѣть поселенцы охочи;
А судно, быть можетъ, изъ милой страны,
Гдѣ сонъ ихъ ласкали родимыя ночи,
Откуда остались родимые сны...

Вползали и дѣти, какъ мошки, на сходни
И жались у мачтъ—заглянуть на свистокъ:
Негаданный праздникъ насталъ имъ сегодня
Головкѣ и глазкамъ восторгъ и урокъ.
Межъ ними одинъ былъ—въ рубашкѣ изъ ситца,
Босой, исхудалый, годовъ десяти.
Картузъ его рваный успѣлъ износиться
И лоскомъ до кожи сапожной дойти.

Рубашка сквозь дыры казала ужъ тѣло,

Охваченъ мотаузомъ тоненькій станъ
Но глазками бойко, умно и умѣло
Машину осматривать сталъ мальчуганъ.
И было нѣжнѣй, чѣмъ у мальчиковъ прочихъ,
Сложенье ребенка, и тоньше черты—
Отъ смуглыхъ рученокъ его нерабочихъ
До глазъ его темныхъ, ума, красоты

И грусти исполненныхъ острой и тайной,
Тѣмъ болѣе ясной, чѣмъ хуже нарядъ.
И кинулъ на мальчика будто случайно
Одинъ пассажиръ свой задумчивый взглядъ.
— Вы гдѣ нибудь учитесь?—началъ съ вопроса
Отъ скуки бесѣду свою пассажиръ.
Взглядъ кинулъ ребенокъ на барина косо,
Прикрылъ онъ одну изъ рубашечныхъ дыръ,

И молвилъ:—Въ приходской учуся я школѣ.
— А ваши родители живы и здѣсь?
— Мы здѣсь лишь недавно, и то поневолѣ.—
И, вспыхнувъ, ребенокъ потупился весь.
— Откуда же вы?—Насъ изъ Витебска гнали.
Отецъ мой служилъ тамъ солдатомъ въ полку;
Бѣжалъ онъ...—И глазки ребенка сверкали
Подобно раздутому вдругъ угольку.

Но, хвастаясь будто, прибавилъ онъ бойко:
— А сколько я видѣлъ желѣзныхъ дорогъ
И рѣчекъ большихъ, городовъ видѣлъ сколько!..
Да только вездѣ насъ сажали въ острогъ.

А здѣсь—продолжалъ онъ—сперва мы съ папашей
Сидѣли за стойкой въ одномъ кабакѣ,
Да видишь, хозяйкѣ не нравились нашей—
Ну, насъ и прогнали... И въ тихой тоскѣ

Запнулся ребенокъ, и, робко улыбку
На личико вызвавъ, прибавилъ потомъ:
— Да ладно, что папа изъ Витебска скрипку
Свою съ канифолью привезъ и смычкомъ:
Теперь на гуляньяхъ играетъ онъ пляски.
Разъ въ мѣсяцъ онъ добылъ двѣнадцать рублей!—
Поднявши лукаво веселые глазки,
Окончилъ ребенокъ разсказъ веселѣй.

— Фамилія ваша?—По польски звучала
Фамилія эта—ребенокъ сказалъ.
— Вы вѣрно католикъ?—Ребенокъ сначала
Какъ будто не понялъ, слегка помолчалъ,
Потомъ усмѣхнулся.—Навѣрно, въ костёлы
Молиться ходили на родинѣ вы?—
Ребенокъ лишь вскинулъ свой взоръ невеселый
И вновь опустилъ, не поднявъ головы,

И вновь усмѣхнулся.—Иль вы православный,
И ходите въ церковь?—Отвѣта все нѣтъ.
Ребенокъ рубашку терёбитъ исправно,
Въ глазахъ его тухнетъ лукавый ихъ свѣтъ
И жалобно-робкой улыбкой на губы,

Какъ искрой послѣдней, спуститься спѣшитъ.
И вдругъ засмѣялись рабочіе грубо,
И слышно сквозь хохотъ:—Да, баринъ, онъ жидъ!

Скрывается мальчикъ. Печально сконфуженъ,
Уходитъ въ каюту свою пассажиръ.
А хохотъ несется, раскатистъ и друженъ,
Какъ будто во слѣдъ имъ смѣется весь міръ.
Идетъ пароходъ ужъ по Ленѣ далёко,
И слѣдъ его, пѣнясь, ложится межой...
И лишь пассажиръ на кормѣ одиноко
И горестно смотритъ на городъ чужой...

Ленскія Щеки.

Щеки—три самыхъ высокихъ утеса на Ленѣ.
Зобатый: зобъ весьма распространенъ въ приленскихъ селахъ.

—Что ты, Лена, зарябила
И быстрѣй свой гонишь валъ:
Или вражеская сила
Затаилась между скалъ?—

— Я спѣшу не безъ причины,
Но спѣшу не отъ бѣды:
Я кладу, какъ въ ямы глины,
Въ ребра скалъ свои слѣды;
Но межъ скалъ я три задѣну,
Равныхъ силою—моей:
Встрѣча съ ними манитъ Лену,
Встрѣча съ ними—счастье ей.
Я люблю ихъ видъ суровый
И покой ихъ вѣковой;
Ихъ безмолвье, будто слово,
Полно смысла, путникъ мой!

Нѣту въ нихъ гордыни черствой,
Нѣту въ нихъ глухаго сна;—
Въ нихъ и сила, и упорство,
И гроза, и тишина.
Властью дышетъ ихъ громада,
Гнѣвъ таитъ ихъ крутизна.
Имъ цвѣтовъ и травъ не надо:
Лишь тумана пелена
Ихъ ласкать беретъ отвагу
Да струя моей волны,—
И на нихъ мы слезъ лишь влагу
Оставлять принуждены!

— Но, послушай: ваши слезы
Не дождутся камня слезъ:
Грёзы, Лена,—вѣчно грёзы,
А утесъ—всегда утесъ...

— Знаю, путникъ мой, ты хочешь
Кинуть въ трудь сомнѣнья ядъ;
Но ты вѣры не подточишь...
Кинь въ мои лишь волны взглядъ:
Какъ дитя, порой ясна̀ я,
Какъ злодѣй, порой мутна̀.
На яву кошмары зная,
Я почти не знаю сна:
Видѣлъ ты людей зобатыхъ,
Видѣлъ ты голодный людъ—
Вѣдь на мнѣ лишь иногда ты,
А они всегда вѣдь тутъ.

Ихъ поятъ мои вѣдь воды,
Гнутъ пріятели твои...
Свищутъ нагло пароходы,
Плачутъ ленскія струи...
О, хотѣла бъ я съ презрѣньемъ
Страхомъ васъ порой смутить!
Дай же мнѣ хоть съ упоеньемъ
Гордый духъ слезой омыть...
Да, ищу я душъ глубокихъ
Женски-трепетной душой,—
И лобзаю страстно Щеки
Съ ихъ суровой тишиной...

Шепчетъ Лена. Сердца раны
Плескъ волны передаетъ.
И предстали великаны,—
И я понялъ ласку водъ...

Двѣ рѣки.

Бичевой тянутъ лодки противъ воды людьми или лошадьми.

Народъ я видѣлъ: грозно строенъ
И гордо мощенъ тонкій станъ;
Рукой кинжалъ одинъ усвоенъ,
Нога не выйдетъ изъ стремянъ;
И благородно-величавы
Черты орлинаго лица:
Горятъ въ очахъ преданья славы,
Сосредоточенность бойца.

И я иныхъ людей увидѣлъ:
Забитый, бѣдный, жалкій родъ.
Суровый сѣверъ ихъ обидѣлъ
И бичевы тяжелый гнетъ;
На шеѣ рѣдко нѣту зоба,
Мозоль до крови на рукахъ;
И, съ колыбели и до гроба,
Въ очахъ нѣмыхъ лѣнивый страхъ.

Я видѣлъ Терекъ. Подъ утесомъ
Плита ложилась на плиту,
И взоръ испуганнымъ вопросомъ
Встрѣчалъ отвѣса высоту.
Едва-едва висѣли глыбы,
И камень камень отягчалъ:
Отъ дуновенія могли бы
Они послать рѣкѣ обвалъ.

И Лену видѣлъ я. Утесомъ
Краснѣя въ грозной высотѣ,
Лежалъ песчаникъ надъ откосомъ.
Плита скользила по плитѣ,
И межъ корней недвижной ели
Едва сдержала свой полетъ;—
И камни тихіе висѣли,
Ища могилы въ глуби водъ.

Какъ звѣрь, во вѣкъ неукротимый,
Вздымался Терекъ межъ тѣснинъ,—
Взлеталъ на камни, падалъ мимо,
Какъ пораженный властелинъ;
И вновь взлеталъ, и падалъ снова,
И рвалъ о камни грудь свою:
Онъ не искалъ въ ущельи крова,
Искалъ онъ гибели въ бою.

Но, широка, невозмутима,
Текла сибирская рѣка,
Чуть омывая камни мимо,

Не задѣвая тростника;
И, если скорбію дышала,
То въ тихой, медленной волнѣ
Та скорбь не пѣною сверкала,
А гасла мракомъ въ глубинѣ.

И словно слышалось моленье
Мнѣ въ воплѣ Терека глухомъ
И въ вѣковомъ уединеньи,—
Въ покоѣ Лены вѣковомъ.
И разныхъ рѣкъ одно и то же
Твердили разныя мольбы:
Пошли пощаду краю, Боже,
Отъ угнетающей судьбы!...

———

Па́возокъ.

Па̀возокъ—рѣчное торговое судно.
Ка̀мора—отдѣленіе, комната.
Къ во́ди—къ водѣ: мѣстная форма произношенія.

У изгиба тихой Лены
Парень съ дѣвушкой сидятъ:
Сосны тихія, какъ стѣны,
Къ нимъ чужой не пустятъ взглядъ
Коренастъ и мало строенъ,
И приземистъ, и широкъ,
Жестомъ ровенъ и спокоенъ,
Взглядомъ ласковъ паренекъ.

И, рабочей худобою
Угловата и стройна,—
Стала дѣвушка любо́ю
Для парнюги-горюна.
И струятся воды Лены;
Рѣчи складны между двухъ:
Сосны тихія, какъ стѣны,
Къ нимъ чужой не пустятъ слухъ.

На колѣняхъ, какъ ребенокъ,
Глядя новенькій платокъ,
Шепчетъ дѣвушка,—не звонокъ
Затаенный голосокъ:
— Помнишь, Ваня, какъ впервые
Мы на пàвозокъ зашли?
Мы, ребята небольшіе,
Словно сразу подросли.

Я—совсѣмъ ужъ малолѣтокъ,
Ты постарше былъ чуть-чуть.
Словно пташкамъ въ лѣсъ изъ клѣтокъ
Намъ пришлось перепорхнуть!
Въ ѝзбахъ нашихъ у́йма грязи,
Бѣдность, сырость, тѣснота;
Обопрѣли бревенъ связи,
Плесень съѣла всѣ мѣста...

А на пàвозкахъ простору
Только въ каморахъ проси;
Ни дощечки безъ призору;
Грязи—Боже упаси!
Въ каждой горницѣ—какъ надо—
Лишь любуйся, да смотри!
И такихъ то горницъ рядомъ
Тамъ, я помню, было три.

Перво нá перво: магàзинъ,—
Все то полки, а на нихъ
Все товаръ то, Ваня, разенъ...

Сколько ситцевъ то однихъ!
Какъ взглянула я на штуки—
Разбѣжалися глаза,
Опустились просто руки...
А вѣдь цѣлые воза

Тутъ еще орѣхъ кедровыхъ
И сапогъ то на ранту,
И пальтовъ для барынь новыхъ,—
И пальто то все къ пальту!
Далѣ сунулась,—поменѣ
Будетъ горница, а въ ней
Все холсты, вишь, изъ Тюмени:
Холстъ то холстика бѣлѣй!

А на стоечкахъ бурнусы,
Словно дѣвки на смотру...
А всего то больше бусы
Мнѣ пришлися по нутру!
Я все далѣ: глядь—коморка
Менѣ тѣхъ—я шмыгъ въ нее...
Подняла у двери шторку,
Вижу: горница-жилье.

Я стояла какъ ворóна:
Все въ коврахъ—постель, добро;
Просто золото—икона,
А лампадка—серебро!
Вижу только: дверка снова;—
Шмыгъ въ нее, и вышла вонъ—

На корму. И, право слово,
Будто видѣла я сонъ—

Что̀ жъ, была я малолѣтокъ—
Вижу: ёлочки кругомъ
Въ днище во́ткнуты до вѣтокъ,
Въ воду спущены пенькомъ:
Просто садикъ вся корма то,
И ковры то какъ въ саду...
Помнишь, Ваня? Ну, а я то
Не забыла на бѣду...—

Замолчала и вздохнула.
Парень былъ давно угрюмъ,
Словно въ немъ перевернула
Рѣчь подруги много думъ.
—Да, въ ту пору недоросткомъ
Былъ и я—и глупъ умомъ,—
Молвилъ онъ уныло-жестко,
Пы́хнувъ ѣдкимъ табакомъ:

—Только помнишь ли, Груняша,
Съ ко̀рня рвутъ у насъ траву:—
Ужъ попала доля наша
Въ пору ту подъ бичеву!
Помнишь ты: тянули почту
Въ эту пору мы не разъ.
Сколько слезъ хлебаешь въ ночь-ту!
Темень, просто выткни глазъ...

Ближе къ во́ди!—кличутъ съ лодки;

Я на Сивкѣ ужъ плыву,—
Словно тянешь по серёдкѣ
Са́мой Лены бичеву.
Конь продрогнетъ и измокнетъ,
Самъ сидишь, какъ не живой,
И не разъ сердечко ёкнетъ:
Не слетѣть бы какъ долой,

Не попасть съ конемъ бы въ яму:
Завертитъ водой—бѣда!
Наугадъ ужъ ѣдешь прямо.
Конь храпитъ; туда-сюда
Сунетъ мордой и запнется—
Станетъ вдругъ,—не то заспетъ;
А гляди, и покачнется:
Ноги сивому ведетъ...

Темень: ѣдешь на конѣ то,
И не видишь головы,—
Отдается только гдѣ-то
Плескъ тяжелой бичевы.
Холодъ, сырость на одёжѣ:
Застываетъ просто въ ледъ
И, какъ стеклами, по кожѣ
Задѣваетъ и дерётъ...

Помнишь, Груня, какъ-то рядомъ,
Ты тянула разъ со мной:
Ночь была съ дождемъ и градомъ;
Заливало насъ волной;

Кони наши всѣ стѣснились,
Тёрлись всѣ мы бокъ о бокъ;
Кормовые разбранились,
Почтальонъ насквозь промокъ

И грозился намъ дубиной...
Ты ревѣла, вся въ слезахъ...
Ни слезинки, ни единой
Не дождался я въ глазахъ,
Молча ѣхалъ... А коня то
Я всего тогда избилъ...
Помнишь, Груня?—Ну, а я то
На бѣду не позабылъ...—

— Помню, Ваня... Я не даромъ,—
Только па́возокъ отъ насъ
По̀плылъ далѣе съ товаромъ,—
Не смыкала ночку глазъ:
Все то вспомнила тогда я —
Нашу долю и тебя...
Ну...дѣвченка молодая,
Волосенки теребя,

Я поплакала тихонько—
Я вѣдь громко не реву,—
А на утро полегоньку
Потянула бичеву...
И вотъ нынѣ, какъ платочекъ
Ты мнѣ съ па́возковъ принесъ, —
Ужъ не сплю я сколько ночекъ:
Горе есть, да нѣту слезъ!...

Сахарбей.

Шефаръ-беемъ былъ онъ въ краѣ,
Гдѣ въ горахъ просторъ и ширь,—
И давно ль попалъ—незнаемъ—
Сахарбейкою въ Сибирь.
Носъ, быть можетъ, былъ орлиный,
Ноздри вырваны лишь въ немъ:
То, что̀ было въ немъ горбиной,
Жалкимъ сдѣлалось крючкомъ...

— „Но за что̀ жъ, черкесъ, сюда ты
Въ ссылку дальнюю попалъ?“—
— Въ наше мѣсто шли солдаты,
Всѣ стрѣлялъ,—и я стрѣлялъ!...—
Давъ отвѣтъ, онъ взоромъ блещетъ
И смѣется, какъ шальной;—
Тихо носъ его трепещетъ
Каждой рваною ноздрей...

Караульный онъ безцѣнный:
Чутокъ, зорокъ, словно кротъ,

František Ráček
profesor obch akademie

Тихій, злобный и согбенный,
Бродитъ ночь онъ напролетъ.
Собаченку, кличкой Дружку,
Одинокій, онъ завелъ,
Окрестилъ ее въ Андрюшку,
Съ ней дѣлилъ постель и столъ.

Саломъ разъ ее украдкой
Всю обмазали свинымъ,
И, облизываясь сладко,
Дружка прыгала предъ нимъ.
Разъ онъ вымылъ—пахнетъ саломъ,
Вымылъ вновь — нельзя дохнуть,—
И ножемъ онъ, какъ кинжаломъ,
Поразилъ собачку въ грудь...

Полюбилъ хозяйскихъ дѣтокъ:
Дѣти съ рукъ его не шли;—
Только дѣтокъ напослѣдокъ
Всѣхъ въ Россію увезли.
И живетъ онъ, старъ и грязенъ,
Безотвѣтно терпѣливъ,
Одинокъ и безобразенъ,
Часто вздоренъ и лѣнивъ...

То глядитъ онъ идіотомъ,
То смѣется, какъ дитя...
А, поставь его къ воротамъ,
Воръ заплачетъ нешутя...—
Вотъ за что̀, мой край забытый,

Я къ тебѣ съ любовью росъ:
Сколько зналъ нѣмой тоски ты
И невыплаканныхъ слезъ!...

Тайга.

Тайга̀ — дикая лѣсная мѣстность.
Варнакъ — бѣглый бродяга.

Глубокѝ въ ней зимою сугробы,
Безпощадны разливы весной,
Недоступны въ ней лѣтомъ трущобы:
Ихъ лѣса охраняютъ стѣной.

Но снѣга серебрятся и блещутъ,
Пѣна водъ и бѣла, и пышна;
И стыдливо въ трущобахъ трепещутъ,
Наливаясь,—цвѣтокъ и сосна...

О скажи мнѣ, родная природа,
Кто всѣхъ крѣпче къ тебѣ припадалъ,—
Всѣхъ жаднѣй сокровеннаго всхода
Каждой мшинки и чуялъ, и ждалъ?

И шумятъ мнѣ суровыя ели,
Стонутъ льды задрожавшей рѣки,
Плачутъ, падая, слезы капели, —
Слышу я: бѣглецы—варнаки.

Вижу я безпокойныя очи,
Вижу раны обмерзнувшихъ щекъ;
Вижу: стелетъ во мглѣ полуночи
Дымъ смолистый, треща, огонекъ...

То померкнетъ, то вновь разгорится—
И какъ зарево вдругъ засіялъ:
Озарилъ онъ суровыя лица
И зубовъ добродушный оскалъ...

Молча внялъ твоему я отвѣту, —
И смолкаю, родная тайга:
Ты оскалила зубы поэту,
И молчишь, глубока и строга...

Бочка.

Омулёвая бочка—изъ подъ рыбы омуля.
Кара̀ и Баргузи̇̀нъ—рѣка за Байкаломъ; на Карѣ̀ казенные рудники.
Вылазь—вылѣзай: мѣстная форма.
Литовка—коса.

Судномъ не брезгуй, хозяинъ Байкалъ,—
Молъ: омулевая бочка,—
Милостивъ будь—поднимай-ка свой валъ:
Мо̀лодцу плыть недалечко!
Плыть ли съ Амура, плыть ли съ Кары̀:
Плыть отъ добра да не къ худу:
Больно начальники наши мудры:
Взглянетъ—нагонитъ простуду,

Шлетъ на работу—иди умирать,
Строитъ поселокъ—могилу...
Силу бродяжную любятъ нажать,
Словно литовку къ точилу:
Выточатъ лихо: бѣда не бѣда,

Море—и то по колѣна:
Въ бочку, какъ въ судно, недолго... Айда!
Вышла работничку смѣна.

Пусть пошвыряетъ хозяинъ Байкалъ,
Пусть и изъ бочки ужь вынетъ:
Живъ или померъ—девятый то валъ
Мо́лодца на̀ берегъ кинетъ!..
Вынесъ бродягу въ Байкалъ Баргузи́нъ:—
Моремъ плыветъ, и не ахнетъ.
Ѣсть захотѣлось—ахъ, дьяволовъ сынъ!—
Бочка то о́мулемъ пахнетъ.

Мало ѣдалъ, да и нюхать за то
Вдоволь едва-ль приходилось;
Нюхай-ка здѣсь: не мѣшаетъ никто,
Нюхай, изъ бочки не вы́лазь;
Нюхай, да только одно и жалѣй:
Клиномъ сошелся вѣдь міръ то:
Что̀ бы посудѣ изъ подъ омулей—
Бочкою быть изъ подъ спирта!

Красная лилія.

Не серебристо-нѣжной бѣлизною,
Не нѣжнымъ золотомъ у тонкаго стебля
Она прельщаетъ свѣтлою весною,
Сорвать маня,—щадить моля...
Пылая алымъ пламенемъ сурово
И яркой искрой вспыхнувъ межъ камней,
Она, укрыта порослью кедровой,
Въ ея тѣни лишь кажется темнѣй;—
И смотритъ мрачно въ очи пѣшеходу
Своей сурово-смѣлой красотой.

Сорви меня!—твердитъ она народу,
Идущему тяжелою стопой—
Сорви меня рукою, въ подземельи
Копавшей золота тяжелое зерно;
Сорви меня: мнѣ въ сѣверномъ ущельи,
Какъ въ шахтѣ вамъ—исчахнуть суждено;
Сорви меня: изнѣженные пальцы
Мнѣ не придется пылью осыпа̀ть,

И нѐ къ кому, таёжные скитальцы,
Таёжную красу вамъ ревновать;
Сорви меня подъ пьяную хоть руку,
И изъ гармоники рыданье извлеки,
И пьяную слезу, оплакавъ жизни муку,
Ты урони ко мнѣ на лепестки!—
И брось меня: не злая незнакомка—
Мой блеклый прахъ возьметъ твоя тайга!

И гнется пѣшеходъ подъ рваною котомкой,
И давитъ лилію подковой сапога...

Спиртоносъ Патрушевъ.

Спиртоносъ — тайный продавецъ вина.
Кайла̀—землекопное орудіе въ видѣ мотыки.
Промысла̀ — такъ обыкновенно зовутъ золотой промыселъ въ Сибири.
Забой—мѣсто, гдѣ отбивается земляной пластъ.
Крючекъ—мѣра вина: чарка.
Витимскіе дворяне — прозваніе жителей села Витимъ.
Шаркунецъ—бубенчикъ.

Плечи—са̀жень косая, а руки,—
Заиграй ли въ нихъ звонко кайла̀,
Иль гармонику треплешь отъ скуки:
На забаву, равно на дѣла—
Эти руки, ей-ей, золотыя;

Приниматься за все имъ съ руки—
Схватятъ, словно изъ стали литыя,
И, какъ змѣи—ловки и вертки...

Да что руки! Что, братецъ мой, сила!
Блещутъ очи огнемъ и умомъ;
А усмѣшка въ губахъ утаила
Думку парня о многомъ такомъ,
Что сказать то пожалуй и смѣло,
А подумать—смѣлѣе того...
А подумалъ, да взялся за дѣло,—
Ужь не струсишь тогда ничего!

Да что умъ! Коли кровь ходитъ въ жилахъ,
Да смущаетъ души тишину:
Міръ бы божій подкинулъ на вилахъ
Да и вновь подхватилъ какъ конну!
Коли полымемъ жжетъ ретивое,
Душу-бъ продалъ порой ни за грошъ,
Хоть кого-бы задѣлъ за живое...
И кудрявѣе словно стаешь!

Взялъ бы бабу, да сжалъ словно птаху...
Не дыши, молъ,—и я не дышу.
Ты не шей, мнѣ, голубка, рубаху,
Кудри я безъ тебя расчешу;—
Размотаю всю косу твою я,
Задохнуся—тебя обойму;—
Слушай: пѣсню тебѣ запою я.
Ретивое свое я уйму...

Да что̀ бабы! Какія здѣсь бабы!
Есть двѣ-три, да и тѣ по рукамъ:
Промысла̀ ихъ сословіемъ слабы;
Здѣсь о бабѣ забудешь и самъ.
Баба что̀: молодцу́ не обуза:
Двинь рукой—отлетитъ далеко:
Поищи неподъёмнаго груза,
Да и вскинь на загорбокъ легко!

Что̀ загорбокъ! Кажися, не мало
Гнулся онъ отъ ребячьихъ годовъ:
Съ малолѣтства насъ жизнь костыляла;
Отъ страды́ потерпѣли трудовъ;
За сохой, бороной да за плугомъ
Жизнь была ужъ куда хороша!—
А не сжалося сердце испугомъ,
Все посвистывать любитъ душа!

Засвистала она, да не вдолгѣ
Опоясалась шалью цвѣтно̀й,
Да не внизъ по рѣкѣ, да по Волгѣ,
А по Ленѣ, по рѣчкѣ иной,
Обернулась по щучьему зову,
Да въ тайгу̀ молодца̀ занесла.
Пропилъ мо̀лодецъ шапку-обнову,
Закупили его промысла̀.

Заработалъ бы денегъ не мало,
Да поболѣ доро̀гой пропьешь...
Эхъ! не даромъ кайла засвистала

И вонзилась въ забой, словно ножъ:
То ли удаль, а то ли и злоба—
Словно рыло воротишь врагу!
Да взглянулъ управляющій въ оба:
(Не останусь ему я въ долгу.)

— Гнать подъ землю такого дѣтину
Какъ бы не было намъ и грѣха,—
Молвилъ онъ:—распрями-ка ты спину,
Да ступай-ка ужо въ конюхà.—
Что жъ, пошелъ. Подходящее дѣло:
Лошадь намъ по душѣ, господа;
Мы посмотримъ за нею умѣло
И попляшемъ на ней иногда.

Не одна вѣдь. Изъ цѣлыхъ то сотенъ
Можно выбрать любимца-коня,
Что бы былъ и на дѣло охотенъ,
И, подковой по камню звеня,
На гольцѣ не убавилъ бы рыси,
А прибавилъ бы смѣтки въ глазахъ,—
При подъемѣ не трусилъ бы выси,
А на спускѣ бы несъ какъ въ рукахъ.

Не охáемъ и всѣхъ то лошадокъ:
Въ пору дать имъ съумѣемъ овса
И хвосты замотаемъ: порядокъ,
Да притомъ же оно и краса!
Запрягай ли, сѣдлай,—шаркунцами
Ты лохмотую морду увѣсь;

Самъ поѣхалъ—нажалъ стремянами,
И съ конемъ словно спаенъ ты весь!

Да и воли, пожалуй поболѣ,
Чѣмъ у тѣхъ, что въ работахъ стоятъ.
Лошадь въ холѣ, и кòнюхи въ холѣ:
Время есть—не чумазый бурятъ:
Не одну себѣ шапку примѣришь,
Не одну себѣ выправишь шаль!
Излѣнился—себѣ не повѣришь:
Удаль есть, а инаго не жаль!

Удаль есть, да и очи работой
До истомы тебѣ не затретъ:
Видишь золото—смотришь съ охотой,
Думка зà сердце жутко беретъ:
Молъ у золота ходишь и дышешь,
Какъ ему не прилипнуть къ рукамъ!
Тутъ-то, братецъ ты мой, и услышишь,
Словно чертъ говоритъ въ тебѣ самъ:

— Рукъ не пачкай, не крадь золотинокъ:
Безъ тебя есть на то мастера;
Намекни лишь: молъ, съ виду я инокъ,
Да пойми-ка меня до нутра,
Да довѣрься—я сбуду не даромъ,
И по совѣсти будетъ дѣлёжъ.—
Понесутъ тебѣ золото съ жаромъ,
Помани-ка ты ихъ, растревожь.—

Имъ сбывать не рука—землероямъ:
Конюхъ ѣздитъ туда и сюда...
Въ это дѣло, братъ, влѣзешь запоемъ—
Отуманишься только—бѣда!
Кровь пошла-заиграла по жиламъ:
Рискъ, такъ рискъ,—а хитрить, такъ хитри:
Съ виду парнемъ такимъ то ты милымъ,—
Чертомъ станешь лукавымъ снутри!

Съ нашимъ братомъ, съ воришкой рабочимъ—
Чище снѣга: копѣйки не крадь—
За безцѣнокъ и сами охочи
Бѣдняки золотинку отдать.
Что безцѣнокъ! Крючекъ полугару—
И съ рабочимъ скостилъ всѣ долги.—
Спиртоносу задай-ка ты жару;
Спиртоноса за то ужъ нажги:

Дастъ за золото спиртъ ли, монету,—
Не жалѣя веди съ нимъ расчетъ.
Да, забрался въ работу ты эту,
Много съ нею узнаешь заботъ.
Да за то вся въ огнѣ голова то,
Такъ и бѣгаетъ глазъ, словно жукъ:
Все бери, что другими не взято,
Что и взято,—тащи изъ подъ рукъ!

Такъ то такъ, да одно только худо:
Вороватость то мнѣ не съ руки.—
Самъ не знаю въ душѣ то откуда

Словно вдругъ закишатъ червяки;
И мутитъ тебя, словно, и мучитъ;
Такъ бы взялъ да, какъ громъ, закричалъ:
— Гей, хозява! васъ конюхъ научитъ,
Сколько золота онъ оттягалъ.

Разкажите, молъ, грудь удалую,
А ужь золота вамъ не вернуть!—
Оттого то, братъ, я и балую,
Оттого то пошелъ я на путь,
Отъ котораго нѣтъ поворота,
А и есть—не захочешь его;
Порѣшилъ я съ собой оттого то:
Спиртоносомъ я сталъ оттого.

Былъ я конюхомъ, значитъ, богатымъ,
Конюхъ былъ я не конюхъ, а царь;
Жилъ съ рабочимъ, съ своимъ, значитъ, братомъ,
Душу въ душу—какъ жилъ съ нимъ и встарь;
Господамъ глазъ отвелъ, словно лѣшій,
Предъ исправникомъ вился, какъ бѣсъ;
А тоскую, хоть голову вѣшай—
Словно змѣй мнѣ подъ сердце залѣзъ.

Затяну себя шалью шелковой,
Да напялю на очи бобра;
Бабу встрѣчу—не рубль, не цѣлковый
Отвалю:—сколько есть серебра.
Пить не пилъ: опьянѣлъ—проболтался;
Мнѣ быть надо, пойми ты, въ струнѣ;

Только чую, что я стосковался
Не по этомъ проклятомъ винѣ.

Зудъ какой-то въ рукахъ—словно крови
Захотѣлось пролить мнѣ, ей-ей!
Призадумался разъ, сдвинулъ брови,
Всѣхъ по стойламъ убралъ лошадей,
Осѣдлалъ горбоноску «Монгола»,
Выбралъ ночь—никому ни гу-гу—
У ружья зарядилъ оба ствóла,
Да и скрылся въ глухую тайгу...

И спроси ка ты, другъ, у казáковъ,
У исправника ты поспрошай:—
Все ли тотъ же, какъ былъ, одинаковъ
Ихъ надзору довѣренный край,
Все ли тѣ же блудливыя шайки
Прячутъ голову въ гущу лѣсовъ,
Аль поменѣ ихъ труситъ ногайки
Да и пуль спиртоносъ Патрушевъ?

Былъ, вишь, конюхомъ—парень былъ славный,
Былъ и вѣжливъ, охочь на поклонъ;
Что поручишь—исполнитъ исправно;
Работящъ, и уменъ, и смышленъ.—
Только, видно, таскалъ золотишко,—
Изъ воровъ въ спиртоносы свернулъ;
Шайку скликалъ... Да—молвить безъ лишка—
Насчитаешь ружейныхъ въ ней дулъ

Тридцать штукъ, да притомъ револьверовъ

Штукъ не менѣ, да есть штуцера;
Да и удали экой примѣровъ
Не видали—дождется добра!
И ловили его—испарился,
Пойманъ былъ—изъ казачей исчезъ...
А чрезъ мѣсяцъ опять населился
Спиртоносами молодца лѣсъ! —

Вотъ что скажутъ. Да, понялъ я, друже,
Что не воръ я, не воръ потайной,
Что, чѣмъ дальше, измучусь я хуже:
Стану лучше я птицей лѣсной;
Разомну-ка я плечи въ походѣ,
Разомну-ка я ихъ не одинъ:
Повоюю-ка я на народѣ,
Какъ народа того господинъ!

Появлюсь-ка къ жиду винокуру,
Подмигну-ка: разсыплется жидъ:
Лишь бы понялъ мою онъ натуру,
Съ полной вѣрой виномъ одолжитъ:
Вѣренъ былъ я всегда на расплату,
А на ругань и ловокъ, и прямъ.
Скидку сдѣлаю нашему брату,
А жиду до копѣйки отдамъ,

Да измучу его, живодёра,
На словахъ, какъ въ угляхъ, подпалю.
Межъ начальствомъ случается ссора:
Засѣдателя я охмѣлю,

Онъ исправнику ножку подставитъ,
Тотъ повыше куда настрочитъ:—
А начальство другъ друга безславитъ,
Такъ съ другими за то ужъ молчитъ...

Заявлюсь я къ «Витимскимъ дворянамъ»,
Кликну кличъ—поползутъ рекрута:
Это мѣсто всегда было станомъ
Тѣмъ, въ чьемъ брюхѣ гудитъ пустота,
Въ головѣ жъ съ перепою тревога.—
Заиграетъ гармоника сборъ—
Соберется не мало, не много—
Горлопановъ порядочный хоръ!

Каждый любитъ винтовку да флягу,
Каждый просится смѣло въ походъ.
Повстрѣчаю дорогой бродягу,
Кликну:—Ей, голова безъ заботъ,
Приставай-ка къ намъ, сирый и нищій,
Приставай, да на трусость то плюнь:
Ножъ не прячь за свое голенище,
А открыто за поясъ засунь!—

Эхъ, спознался я съ этимъ народомъ,
Словно сила во мнѣ прибыла:
Все смѣлѣю, и съ каждымъ то годомъ
Затѣваю такія дѣла,
Что начальство теперь «понимаютъ»,
Да и самъ не виляю, не лгу:
Чтожъ: ловили—и снова поймаютъ,
Убѣгалъ—и опять убѣгу!

А въ походѣ? Какъ пологъ зеленый,
Укрываетъ отвсюду тайга.
Ѣдешь тихо тропой потаенной;
На вершинахъ бѣлѣютъ снѣга;
Фляги спирта качаются ровно,
Войлокъ мягко лежитъ на вьюкàхъ;
Стволъ холодный сжимаешь любовно
Въ онѣмѣвшихъ горячихъ рукахъ.

Всѣ копыта покрыты рогожей,
Чтобы топотъ-предатель исчезъ.
Глазъ примѣтливый весь насторóжѣ,
Слухъ примѣтливый слушаетъ лѣсъ...
Кровь то стынетъ, то катится въ жилахъ,
Словно будитъ тайгѝ тишину...—
Міръ бы божій подкинулъ на вилахъ,
И опять подхватилъ, какъ копну!

И пустилъ бы пѣвучую пулю
Въ лобъ пустой казаку-дураку:
Я ихъ зорко всегда караулю—
И бивалъ на своемъ ужъ вѣку...
Да, тайга заберетъ за живое,
Душу радъ погубить ни за грошъ,
Такъ и стынетъ, и жжетъ ретивое,
И кудрявѣе словно стаешь!

Да какъ вспомнишь всю жизнь то былую,
Радъ бы пѣсню я тàкъ затянуть:
— Гей, хозява, вамъ грудь удалую—

Патрушева къ себѣ не вернуть!
Чтò поётъ онъ—пожалуй и смѣло,
Чтò задумалъ — смѣлѣе того,
А задумалъ, да взялся за дѣло—
Ужъ не струситъ тогда ничего!

Старая казарма.

Посвящается Влад. Федос. Голикову.

Казарма — жилище рабочихъ на пріискахъ.

Старатель — внѣ общихъ работъ отыскивающій золото; ему платятъ не за работу, а за золото, по вѣсу; такимъ образомъ поднимаемое, золото называется подъемнымъ.

— Ей вы, старатели, на сломъ
Казарма старая пойдетъ;—
Бери метлу, лопату, ломъ,
И двигайся въ походъ!
Пошарь, почисти, поскреби
Въ любомъ ея углу,
И для промывки отгреби
И грязь, и тряпки, и золу!

Бѣдовый золото металлъ:
Проникнетъ всюду, какъ песокъ;
И не замѣтишь, какъ присталъ

Бъ полевомъ онъ сапогъ,
Въ [illegible] вѣкъ, завѣсъ въ [illegible],
Въ [illegible] [illegible],
Уже въ [illegible], и у стѣны
Уже на [illegible], на [illegible].

Сердца и чести—[illegible]—
А [illegible] [illegible]
Тѣ [illegible] [illegible], [illegible]
Въ [illegible]—[illegible] [illegible],
А [illegible] [illegible] [illegible]—
[illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]—

Такъ [illegible]. И [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] —
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Веселыхъ шутокъ не сочтешь,
И нѣтъ предѣла для потѣхъ.

Пошли иные лихо въ плясъ—
Спиной поводятъ на ходу;
И пѣсней грянуть всѣ заразъ
Давно ужъ на ладу;—
И съ пѣсней пòсвистъ удалòй
Раздался и слился...
Идутъ старатели толпой,
Берутъ все выше голоса...

Вошли въ казарму. Пыль и мракъ,
И духота, и пустота.
И у толпы суровый шагъ
Вдругъ замеръ. Изо рта
Не рвется пѣсня, свистъ умолкъ,
Гремитъ лишь стукъ сапогъ.—
И раздается мрачный толкъ,
Едва шагнули за порогъ:

—Ишь, дьяволъ, словно не жилье!—
—Стара, голубушка, стара.—
—Эхъ, братцы, пожили бъ съ мое:
Знакома конура,
Живалъ я въ ней...—Не все равно!
Въ такихъ и мы теперь,
Поболѣ, развѣ, что окно,
Да будетъ шире, нешто, дверь...

— Ну да, толкуй! Тутъ что ли печь?
Тутъ просто курево—очагъ.
А глянь на нары: узко лечь,
Перекоробь ихъ врагъ!
И сырь была здѣсь: ишь, гляди:
Все плѣсень, гниль...—Да что!
Ты посравни, да посуди:
Кажись не то, а выйдетъ то!

Въ казармахъ нашихъ не дымитъ,
Пошире нары—слова нѣтъ,—
И сырь не штука: будь лишь сытъ,
Да вó время согрѣтъ...
Да только въ нашихъ конурàхъ,
Аль въ этой—все равно—
Ломота таже шла въ костяхъ,
Небось, что нынѣ, что давно!

Небось такимъ же пóтомъ здѣсь
Мужичья плакала спина...
А нашу грязь попробуй свѣсь,—
Что нами снесена
Изъ шахтъ землистыхъ и сырыхъ,
Что въ нашъ впиталась потъ!—
—Того гляди, недобрый стихъ
Здѣсь, братцы, нá душу найдетъ!—

—Чего! скреби безъ лишнихъ словъ,
Да больше золота намой,
А на него добудешь штофъ

Съ сивухою самой;—
Да тѣхъ, что гнулись здѣсь давно,
Ты чаркой помяни:
Изъ грязи ихъ милѣй вино—
И наша грязь ему сродни!

Авось, со временамъ и тамъ,
Гдѣ нынче мы кряхтимъ, ложась,—
Дадутъ работу, да не намъ,
Сгребутъ и нашу грязь,
Разыщутъ золото и въ ней,
Да и его пропьютъ!
—Эхъ, плюнь на все: работай, пей,
Да бойся всякихъ пересудъ!—

Пошла работа. Въ тишинѣ
Согнулось низко много спинъ:
Кто теръ метлою по стѣнѣ,
Кто скребъ изъ подъ тесинъ
Наръ покривившихся—тряпье,
Кто въ кучки мѣлъ золу...—
И всякій грустно про свое
Въ своемъ задумался углу...

Запѣвало.

Развѣдка — изысканіе золота на неизвѣданномъ, новомъ мѣстѣ.

Мясни́ку качать — выкачивать изъ шахты жидкую землю.

Становой — помощникъ управляющаго на золотомъ пріискѣ, завѣдующій станомъ пріиска.

По дебрямъ таёжнымъ везли паровикъ;—
Дорога была тяжела:
Топоръ въ эти дебри недавно проникъ,
Лопата недавно прошла;—
Везли на развѣдку: мяснику качать
Изъ шахты, пробитой едва;
Коней приходилось не разъ выпрягать,
И людямъ машину самимъ поднимать
Не разъ, и не два...

И вотъ открывается страшный подъемъ,
Пугаетъ его крутизна,—
И нечего думать взобраться конемъ:

Подъемъ—не подъемъ, а стѣна.
Ползетъ онъ въ тѣснинѣ, проходитъ межъ скалъ;
Кедровникъ ползучій надъ нимъ
Гирляндой суровой со скалъ упадалъ
И, словно смѣясь, неудачъ ожидалъ
Усильямъ людскимъ.

—Постромки долой!—приказалъ становой—
Закинь за машину канатъ,
Стань двадцать рабочихъ впередъ, головой,
Да двадцать въ подмогу назадъ.
Пусть спѐреди тянутъ, а сзади напрутъ...
Да тормазъ-бревно приготовь...
Ну дѣйствуй, ребята! На водку за трудъ...
Сплохуете—ваши же васъ осмѣютъ,
Да въ глазъ, а не въ бровь!—

Впряглись молодцы. Потянули. Кряхтятъ:
Ни съ мѣста—лишь выступилъ потъ.
—Ей вы, напирайте, чтò стали назадъ!—
Увы хоть одинъ поворотъ
Колеса бы дали: стоитъ паровикъ.
И всѣ, покраснѣвши лицомъ,
Еще потянули. Напрасенъ и крикъ:
И ноги, какъ будто, и грудь, и языкъ—
Налиты свинцомъ.

—Прибавь еще десять!—кричитъ становой.
И десять еще припряглись:
Поникли подъ лямкой опять головой,

Ступили,—тянуть принялись:
Сильнѣе, сильнѣе,—пи съ мѣста опять...
Холодный лишь потъ на вискахъ,
Да начало въ грудь полегоньку стрѣлять,
Да мускулы болью чуть-чуть подсѣкать
Въ согнутыхъ ногахъ.

Ни съ мѣста, ни съ мѣста...—Еще припряги:
Пусть будетъ теперь шестьдесятъ.
Ребята, на водку! Себѣ вы враги!
Ложися плотнѣй на канатъ!—
Плотнѣе легли. И уста, и чело
Успѣли у всѣхъ побѣлѣть;
А очи сверкали болѣзненно-зло;
И ноги, какъ палки, въ колѣняхъ вело,
А руки, какъ плеть,

Подъ вдавленной грудью повисли теперь,
Земли не касаясь чуть-чуть...
Согнулся рабочій, какъ травленый звѣрь,—
Хрипитъ-задыхается грудь...
Ужъ крикъ одобренья нейдетъ съ языка:
Въ молчаніи каждый налегъ.—
И тронули словно машину слегка,
Но снова недвижна она и тяжка—
Вонзилась въ песокъ.

— Эхъ, вижу, ребята, себѣ вы враги...
Да ладно. И то не бѣда.
Иванъ-Запѣвало? Гдѣ онъ? Побѣги,

Тащи его, парень, сюда!—
Сказалъ становой одному. Побѣжалъ,
Привелъ запѣвалу мужикъ:
Невзрачный и хилый, и жалокъ, и малъ,
Глазами испуганно Ванька мигалъ,
Головкой поникъ,

И, русыя кудри откинувъ рукой,
Съ испугомъ смотрѣлъ на ребятъ.
— Ей ты, запѣвало, такой да сякой!
Ступай, становися подъ рядъ.
Тянуть не тяни: надорвешься какъ разъ:
Ишь ты недоростокъ какой, —
А, только ребята налягутъ зарàзъ,
Ты тутъ-то, любезный, немедля, сейчасъ
И пѣсню запой!—

Робѣя, припрегся неловко Иванъ,
Покашлялъ чуть-чуть, покряхтѣлъ;
Въ глазахъ его словно поднялся туманъ;
Онъ словно исчезнуть хотѣлъ:
Весь съёжился робко подъ лямкой своей...
Но только шагнуть онъ успѣлъ,
Глаза его сдѣлались больше, свѣтлѣй, —
Онъ голову поднялъ, шагнулъ посмѣлѣй,
И тихо запѣлъ.

Блѣдны, безучастны, шагнули и тѣ,
Что грудь ужъ могли надорвать.
Но съ пѣсней Ивана въ ихъ каждой чертѣ

Патрушева къ себѣ не вернуть!
Чтò поётъ онъ—пожалуй и смѣло,
Чтò задумалъ — смѣлѣе того,
А задумалъ, да взялся за дѣло—
Ужъ не струситъ тогда ничего!

Старая казарма.

Посвящается Влад. Федос. Голикову.

Казарма — жилище рабочихъ на пріискахъ.

Старатель — внѣ общихъ работъ отыскивающій золото; ему платятъ не за работу, а за золото, по вѣсу; такимъ образомъ поднимаемое, золото называется подъемнымъ.

— Ей вы, старатели, на сломъ
Казарма старая пойдетъ;—
Бери метлу, лопату, ломъ,
И двигайся въ походъ!
Пошарь, почисти, поскреби
Въ любомъ ея углу,
И для промывки отгреби
И грязь, и тряпки, и золу!

Бѣдовый золото металлъ:
Проникнетъ всюду, какъ песокъ;
И не замѣтишь, какъ присталъ

Къ подошвамъ онъ сапогъ,
Въ подвертки влѣзъ, залѣзъ въ штаны,
Въ казарменную щель,
Упалъ въ очагъ, и у стѣны
Упалъ на нары, на постель.

Скреби и чисти—промывай;—
А коли золото найдешь,
То, какъ подъемное, сдавай
Въ контору—не за грошъ,
А, какъ по вѣсу отойдетъ—
Получишь все путемъ.
Вали, старатели: идетъ
Казарма старая на сломъ! —

Таковъ приказъ. И, какъ потокъ,
Шумитъ рабочая толпа.
Забралъ-бы всякій все, что могъ:
Какъ будто со слѣпа̀
Суютъ другъ другу въ руки ломъ,
Ненужную кайлу̀;
Галдятъ, ругаются кругомъ
И дѣлятъ рваную метлу...

Вотъ собрались. Идутъ, какъ строй,
Но не смолкаетъ шумъ и крикъ.
Всѣмъ руково̀дитъ, какъ герой—
Командуетъ старикъ.
Остритъ и шутитъ молодежь:
Удары, брань и смѣхъ,—

Веселыхъ шутокъ не сочтешь,
И нѣтъ предѣла для потѣхъ.

Пошли иные лихо въ плясъ—
Спиной поводятъ на ходу;
И пѣсней грянуть всѣ заразъ
Давно ужъ на ладу;—
И съ пѣсней подсвистъ удалой
Раздался и слился...
Идутъ старатели толпой,
Берутъ все выше голоса...

Вошли въ казарму. Пыль и мракъ,
И духота, и пустота.
И у толпы суровый шагъ
Вдругъ замеръ. Изо рта
Не рвется пѣсня, свистъ умолкъ,
Гремитъ лишь стукъ сапогъ.—
И раздается мрачный толкъ,
Едва шагнули за порогъ:

—Ишь, дьяволъ, словно не жилье!—
—Стара, голубушка, стара.—
—Эхъ, братцы, пожили бъ съ мое:
Знакома конура,
Живалъ я въ ней...—Не все равно!
Въ такихъ и мы теперь,
Поболѣ, развѣ, что окно,
Да будетъ шире, нешто, дверь...

— Ну да, толкуй! Тутъ что ли печь?
Тутъ просто курево—очагъ.
А глянь на нары: узко лечь,
Перекоробь ихъ врагъ!
И сырь была здѣсь: ишь, гляди:
Все плѣсень, гниль...—Да что!
Ты посравни, да посуди:
Кажись не то, а выйдетъ то!

Въ казармахъ нашихъ не дымитъ,
Пошире нары—слова нѣтъ,—
И сырь не штука: будь лишь сытъ,
Да вó время согрѣтъ...
Да только въ нашихъ конурàхъ,
Аль въ этой—все равно—
Ломота таже шла въ костяхъ,
Небось, что нынѣ, что давно!

Небось такимъ же пóтомъ здѣсь
Мужичья плакала спина...
А нашу грязь попробуй свѣсь,—
Что нами снесена
Изъ шахтъ землистыхъ и сырыхъ,
Что въ нашъ впиталась потъ!—
—Того гляди, недобрый стихъ
Здѣсь, братцы, нá душу найдетъ!—

—Чего! скреби безъ лишнихъ словъ,
Да больше золота намой,
А на него добудешь штофъ

Съ сивухою самой;—
Да тѣхъ, что гнулись здѣсь давно,
Ты чаркой помяни:
Изъ грязи ихъ милѣй вино—
И наша грязь ему сродни!

Авось, со временамъ и тамъ,
Гдѣ нынче мы кряхтимъ, ложась,—
Дадутъ работу, да не намъ,
Сгребутъ и нашу грязь,
Разыщутъ золото и въ ней,
Да и его пропьютъ!
—Эхъ, плюнь на все: работай, пей,
Да бойся всякихъ пересудъ!—

Пошла работа. Въ тишинѣ
Согнулось низко много спинъ:
Кто теръ метлою по стѣнѣ,
Кто скребъ изъ подъ тесинъ
Наръ покривившихся—тряпье,
Кто въ кучки мѣлъ золу...—
И всякій грустно про свое
Въ своемъ задумался углу...

Запѣвало.

Развѣдка — изысканіе золота на неизвѣданномъ, новомъ мѣстѣ.

Мясни́ку качать — выкачивать изъ шахты жидкую землю.

Становой — помощникъ управляющаго на золотомъ пріискѣ, завѣдующій станомъ пріиска.

По дебрямъ таёжнымъ везли паровикъ;—
Дорога была тяжела:
Топоръ въ эти дебри недавно проникъ,
Лопата недавно прошла;—
Везли на развѣдку: мяснику качать
Изъ шахты, пробитой едва;
Коней приходилось не разъ выпрягать,
И людямъ машину самимъ поднимать
Не разъ, и не два...

И вотъ открывается страшный подъемъ,
Пугаетъ его крутизна,—
И нечего думать взобраться конемъ:

Подъемъ—не подъемъ, а стѣна.
Ползетъ онъ въ тѣснинѣ, проходитъ межъ скалъ;
Кедровникъ ползучій надъ нимъ
Гирляндой суровой со скалъ упадалъ
И, словно смѣясь, неудачъ ожидалъ
Усильямъ людскимъ.

—Постромки долой!—приказалъ становой—
Закинь за машину канатъ,
Стань двадцать рабочихъ впередъ, головой,
Да двадцать въ подмогу назадъ.
Пусть спѐреди тянутъ, а сзади напрутъ...
Да тормазъ-бревно приготовь...
Ну дѣйствуй, ребята! На водку за трудъ...
Сплохуете—ваши же васъ осмѣютъ,
Да въ глазъ, а не въ бровь!—

Впряглись молодцы. Потянули. Кряхтятъ:
Ни съ мѣста—лишь выступилъ потъ.
—Ей вы, напирайте, чтò стали назадъ!—
Увы хоть одинъ поворотъ
Колеса бы дали: стоитъ паровикъ.
И всѣ, покраснѣвши лицомъ,
Еще потянули. Напрасенъ и крикъ:
И ноги, какъ будто, и грудь, и языкъ—
Налиты свинцомъ.

—Прибавь еще десять!—кричитъ становой.
И десять еще припряглись:
Поникли подъ лямкой опять головой,

Ступили,—тянуть принялись:
Сильнѣе, сильнѣе,—ни съ мѣста опять...
Холодный лишь потъ на вискахъ,
Да начало въ грудь полегоньку стрѣлять,
Да мускулы болью чуть-чуть подсѣкать
Въ согнутыхъ ногахъ.

Ни съ мѣста, ни съ мѣста...—Еще припряги:
Пусть будетъ теперь шестьдесятъ.
Ребята, на водку! Себѣ вы враги!
Ложися плотнѣй на канатъ!—
Плотнѣе легли. И уста, и чело
Успѣли у всѣхъ побѣлѣть;
А очи сверкали болѣзненно-зло;
И ноги, какъ палки, въ колѣняхъ вело,
А руки, какъ плеть,

Подъ вдавленной грудью повисли теперь,
Земли не касаясь чуть-чуть...
Согнулся рабочій, какъ травленый звѣрь,—
Хрипитъ-задыхается грудь...
Ужъ крикъ одобренья нейдетъ съ языка:
Въ молчаніи каждый налегъ.—
И тронули словно машину слегка,
Но снова недвижна она и тяжка—
Вонзилась въ песокъ.

— Эхъ, вижу, ребята, себѣ вы враги...
Да ладно. И то не бѣда.
Иванъ-Запѣвало? Гдѣ онъ? Побѣги,

Тащи его, парень, сюда!—
Сказалъ становой одному. Побѣжалъ,
Привелъ запѣвалу мужикъ:
Невзрачный и хилый, и жалокъ, и малъ,
Глазами испуганно Ванька мигалъ,
Головкой поникъ,

И, русыя кудри откинувъ рукой,
Съ испугомъ смотрѣлъ на ребятъ.
— Ей ты, запѣвало, такой да сякой!
Ступай, становися подъ рядъ.
Тянуть не тяни: надорвешься какъ разъ:
Ишь ты недоростокъ какой, —
А, только ребята налягутъ зарàзъ,
Ты тутъ-то, любезный, немедля, сейчасъ
И пѣсню запой!—

Робѣя, припрегся неловко Иванъ,
Покашлялъ чуть-чуть, покряхтѣлъ;
Въ глазахъ его словно поднялся туманъ;
Онъ словно исчезнуть хотѣлъ:
Весь съёжился робко подъ лямкой своей...
Но только шагнуть онъ успѣлъ,
Глаза его сдѣлались больше, свѣтлѣй, —
Онъ голову поднялъ, шагнулъ посмѣлѣй,
И тихо запѣлъ.

Блѣдны, безучастны, шагнули и тѣ,
Что грудь ужъ могли надорвать.
Но съ пѣсней Ивана въ ихъ каждой чертѣ

Вниманіе стало дрожать;
И го́ловы по́дняли тихо они,
И крѣпче легли на канатъ.
Иванъ выводилъ переливы одни,
И слышалось въ пѣснѣ: тяни да тяни,—
Ни шагу назадъ.

И слышалась въ пѣснѣ печаль и тоска,
Унынье безъ жалобъ и слезъ.
А пѣсня лилась—трепетала слегка,
И голосъ пѣвца будто росъ.
Безпечнѣй унынье дышало все въ ней,
Въ той пѣснѣ народно-простой;—
И груди на лямку ложились плотнѣй,
И груди отъ лямки-ль болѣли сильнѣй,
Отъ пѣсни ли той,—

Но боль та манила впередъ и впередъ...
Трещалъ, подавался канатъ.
Безпечнѣй, безпечнѣй все пѣсня стаетъ,
И очи Ивана горятъ...
Все ниже онъ русую голову гнетъ,
Все выше и выше чело
Подъемлетъ усталый рабочій народъ...—
И двигаетъ пѣсня всѣ груди впередъ,
Какъ лодку — весло.

И удалью стала безпечность пѣвца,
И посвистомъ пѣсня пошла...
То кудри откинетъ Иванъ отъ лица,

То гикнетъ: была не была!
И льется, и вьется удалый напѣвъ,
Все туже, да туже канатъ...
Рабочіе тянутъ, да тянутъ, присѣвъ;
А Ванька кудрями, какъ гривою левъ,
Трясетъ пѣснѣ въ ладъ...

И удаль той пѣсни и болью полна,
И къ боли презрѣньемъ лихимъ...
И посвистомъ стонетъ, и плачетъ она,
Смѣется уныньемъ своимъ...
Все тверже и тверже рабочихъ шаги,
Все туже да туже канатъ...
— Стой, черти, довольно! себя береги...
Да стойте же, стойте! себѣ вы враги:
Везутъ, не глядятъ!

Довольно: встащили!—И стала толпа.
Всѣ блѣдны, въ холодномъ поту.
И смотрятъ—не видятъ: глядятъ сослѣпа;
Лишь чувствуютъ: сухо во рту,
По тѣлу какъ будто бы молнія шла,
И вынесло тѣло грозу...
А кручь, что пугала, внизу ужъ была,
И также надъ нею висѣла скала
Далёко внизу...

Встащили, встащили. И ровнымъ путемъ
Машину далёко влекли—
До самаго спуска. И здѣсь-то съ трудомъ

Едва удержать ихъ могли:
Едва услыхали въ забвеньи своемъ
Начальства отчаянный крикъ.
И въ пропасть легко бы съ глухимъ торжествомъ
Увлекъ, задавилъ бы на спускѣ крутомъ
Ихъ всѣхъ паровикъ.

Встащили, встащили... И поняли вдругъ,
Что дрожь ихъ трясетъ все сильнѣй,
И словно обрывки несознанныхъ мукъ
Ростутъ и скопляются въ ней...
И поняли вдругъ, что едва на ногахъ
Они отъ безсилья стоятъ.
И поняли ясно, что боль, а не страхъ,
Терзаетъ ихъ жутко въ груди и плечахъ,
Гдѣ тёръ ихъ канатъ...

Безумьемъ, забвеньемъ имъ пѣсня была,
Въ груди ихъ зажглася, какъ гнѣвъ—
О слабости память собою сожгла...
Но, страшную кручь одолѣвъ,
Больны и безсильны бѣдняги стоятъ,
И стынетъ на тѣлѣ ихъ потъ...
—Ну, Ванька!—разбитою грудью хрипятъ —
Не самый ли дьяволъ, не цѣлый ли адъ
Въ ёмъ, братцы, поетъ?

—И то! погляди-ка-сь: безъ дѣла небось,
Для вида держась за канатъ,
Бѣжалъ онъ, а тоже измученъ,—хоть брось,

Пожалуй и самъ то не радъ!
Возьмись,—поколдуй-ка! Ужъ чертъ истомитъ,
Коль вѣрный ты дьяволу рабъ!—
—Ну врите!...—А Ванька и вправду сидитъ,
Глазами угрюмо глядитъ-не-глядитъ,—
Измученъ и слабъ...

Таёжная опричнина.

Таёжный—пріисковый.
Отвалъ — отбросъ земли и гальки отъ промывки золота.

Въ своей странѣ великихъ горъ,
Дыша отвагой и свободой,
Сыновъ Кавказа гордый взоръ
Встрѣчался съ грозною природой;
И загоралася душа
Борьбы и боя жгучей жаждой;—
И, противъ чести не грѣша,
Изъ нихъ разбойникомъ былъ каждый.

Когда жъ вступили въ грозный бой
За горы вольныя отчизны,—
Проснулся въ хищникѣ герой
И воинъ, чуждый укоризны.
Съ врагомъ схватились грудь о грудь,—
И въ снѣговой Казбекъ порфирѣ
Одинъ, быть можетъ, видѣлъ путь
Своихъ дѣтей въ снѣга Сибири...

Увы, безмолвенъ былъ Казбекъ,
Когда, гяурами разбиты,
Сыны Кавказа кончить вѣкъ
Шли въ край суровый и забытый,—
Шли, волоча кольцо цѣпей,
Надвинувъ сумрачно папаху;—
И грозный взоръ еще грознѣй
Былъ чуждъ отчаянью и страху...

И мысль внезапная пришла
У тѣхъ, чья власть повелѣвала:
На золотые промысла
Отправить пасынковъ Дарьяла,—
И тамъ, изъ нихъ создавши рать
Покоя сторожей умѣлыхъ,—
Толпѣ грозой ихъ указать
Повиновенія предѣлы.

Имъ дали ружья и коней,
И столь любезные кинжалы:
И ненавистнѣй, и грознѣй
Сверкнулъ ихъ взоръ глубоко-впалый.
Высоты дикія тайги
Имъ край родной напоминали:
И вновь,—спокойствія враги,
Въ нихъ звѣри хищные возстали.

Предъ ними золото лилось,
Вино ходило тихомолкомъ;
И, пропитавши всѣхъ насквозь,

Равняла алчность съ дикимъ волкомъ
Въ краю безлюдномъ всѣхъ людей;
И всякій кралъ и пилъ подъ спудомъ...—
И все надменнѣй и грознѣй
Черкесъ скакалъ по камня грудамъ,

Въѣзжая гордо на отвалъ.
Черкесъ давно и самъ былъ воромъ,
Но воровство тò не считалъ
Ни преступленьемъ, ни позоромъ:
Какъ ястребъ курицу когтитъ
Въ лѣсу глухомъ и сокровенномъ,
Такъ дикій хищникъ честный видъ
Хранилъ увѣренно-надменно.

Вина не пьётъ онъ: Магометъ,
Онъ оцѣнилъ твою услугу:
—«Когда въ умѣ дурмана нѣтъ,
Въ немъ больше хитрости, досугу;
И больше ловкости въ рукахъ;
Глаза все зорче замѣчаютъ;
Ни дерзость пьяная, ни страхъ,
Ни болтовня не помѣшаютъ...

А этотъ пьяный русскій скотъ
И въ воровствѣ презрѣнъ и жалокъ:
Онъ въ шахтахъ роется, какъ кротъ,
Въ острогахъ зналъ не мало палокъ,—
А неумѣетъ и украсть:
Украдетъ,—сбудетъ за безцѣнокъ,

Чтобъ выпить шкаликъ и попасть
Подъ то же иго...»—И оттѣнокъ

Презрѣнья къ жалкому скоту
Въ чертахъ черкеса возрастаетъ.
Съ проклятьемъ дерзостнымъ во рту
Онъ на рабочихъ наѣзжаетъ,
Рукою стиснувъ свой кинжалъ,
Кичась довѣренною властью.—
И сынъ свободный гордыхъ скалъ
Въ неволѣ сталъ рабовъ напастью.

Сталъ соглядатаемъ черкесъ,
Какъ ястребъ, зоркимъ, ненавистнымъ.
Звѣрь безкорыстный въ немъ исчезъ:
Соображеніемъ корыстнымъ
Кинжаломъ вновь вооруженъ,
Украшенъ властью надъ толпою,
Онъ былъ невольно развращенъ
Своей надменностью слѣпою...

И озарила радость ликъ
У тѣхъ, чья власть повелѣвала:
Не самохвалъ, не клеветникъ
Былъ сынъ далекаго Дарьяла,
И не лѣнтяй, какъ казакй:
Въ немъ воинъ жилъ не по указу.
Угрозѣ жилистой руки
Рабочій вѣрить станетъ сразу:

Нѣтъ у нея пустыхъ угрозъ,

И слишкомъ близко дѣло съ словомъ...
Но тайный ропотъ тихо росъ
Въ толпѣ, въ молчаніи суровомъ...
И, съ тайной силой не знакомъ,
Не зажигавшей даже взора,
Разбойникъ, ставшій казакомъ,
Не ждалъ ни мести, ни отпора.

Когда жъ презрѣнный русскій людъ,—
Орава пьяная рабочихъ,—
Безъ лишнихъ шумныхъ пересудъ,
Все потупляя также очи,
Вдругъ безтолково зашумѣлъ,
Сыновъ Кавказа принялъ въ колья;—
И изъ сыновъ тѣхъ не умѣлъ
Никто въ лѣса, или въ подполья,

— Чтобъ избѣжать народа месть,—
Упрятать голову позорно;
Когда проснулась въ горцѣ честь,
И схватка шумная упорно
До боя смертнаго дошла,—
Тогда невольно стало ясно,
Что честнымъ ввѣрить силу зла,
Ихъ развративъ, не безопасно...

Аутодафе.

Поскòтина—отгороженное при въѣздѣ въ деревню мѣсто для пастбища скота.
Пріискатель —рабочій на пріискáхъ.

Шла съ работъ послѣ расчета
Пріискателей гурьба.
Съ плечъ работа и забота,
Близко пьянство и гульба:
Путь безлюдный ужъ кончался—
Онъ тянулся ночь и день:
Изъ-за лѣса показался
Дымъ желанныхъ деревень.

Ужъ поскотина открыта,
А за нею, у воротъ,—
Хлѣбъ и водка не забыта,—
Ждетъ-привѣтствуетъ народъ;
И давно нашили бабы
И рубахъ, и шароваръ:
Съ пріискòвъ ребята слабы
До обновъ: и младъ, и старъ—

Всѣ берутъ себѣ одёжу,
А объ торгѣ ни гу-гу,
Развѣ плюнутъ бабѣ въ рожу,
Сыпля щедрую деньгу́,
Да прикрикнутъ:—Ей, Авдотья,
Молъ, напрасно не зѣвай:
Скидавай съ меня лохмотья,
Что̀ получше надѣвай!—

Лишь одинъ старикъ суровый,—
Пилъ онъ молча, хмуря взоръ,—
Снялъ старье, надѣлъ обновы,
Разложилъ вблизи костеръ,—
И, готовъ зажечь огнивомъ
Шишки, сучья и щепье,
Положилъ неторопливо
На костеръ свое тряпье.

— Дѣдко, стой!—завыли бабы: —
Лучше намъ его отдай!—
Улыбнулся дѣдко слабо,
Проворчалъ лишь:—Не замай!
— Да отдай имъ—убѣждали
Старика и мужики: —
Аль огня мы не видали!—
Раздувая угольки,

Засверкалъ старикъ очами
И во весь поднялся ростъ:
—Гмъ! не всѣмъ быть дураками:
Я не такъ, ребята, простъ,—

Молвилъ онъ:—Изъ Забайкалья
Поумнѣе васъ народъ:
Тамъ послѣдняя р-ракалья
Все до ниточки сожжетъ!

Знаютъ тамъ: нахлещешь глотку,—
Сколько ты не горлопань,
Обдерутъ тебя въ охотку;
А твою же дрянь и рвань
За послѣднюю копѣйку,—
Чтобъ прикрыть пропойцѣ стыдъ,—
Та же баба-лиходѣйка
Сбыть тебѣ же норовитъ.

Не спалишь,—отдашь ей съ цьяна,
А спалишь,—пошелъ хоть голъ,
Да съ прійскомъ безъ изьяна
Богъ раздѣлаться привелъ:
Не надѣнешь ужъ сермяги,
Чтò таскалъ, какъ грязный песъ!...—
И, сказавши, чарку браги
Дѣдъ товарищамъ поднесъ.

И зажегъ костеръ готовый,—
И, величественъ и старъ,
Ждалъ серьезно и сурово...
И пошелъ тяжелый паръ
Отъ одежды перепрѣлой—
Изъ любòй ея дыры...
А толпа уже шумѣла
И готовила костры...

Черезъ мракъ къ свѣту.

Посвящается Витяеву.

I.

Спускался въ шахту я. Въ рукѣ моей несмѣлой,
Дымясь, свѣча кругомъ сгущала тѣнь,
И подъ ногой оцѣпенѣлой
Скользила лѣстницъ мокрая ступень.
Все меньше свѣтъ казался надо мною,
Отверстье шахты у́же было все,—
И, окруженъ землистою стѣною,
Я со́гнутой томительно спиною
Задѣть боялся за нее.

Система лѣстницъ мрачной паутиной
Все ниже шла, и робко я скользилъ
То подъ широкою тесиной,
То подъ подобіемъ перилъ:
То́ были все площадки и подпоры...
Ступени, связи путались, какъ сѣть...
При взглядѣ внизъ старались взоры

Хотя огни во мракѣ разсмотрѣть...
Въ холодномъ воздухѣ, сыромъ и полномъ влаги,
Мерцали тѣ огни, блуждая тамъ и здѣсь;—
И мой огонь мерцалъ при каждомъ шагѣ,
И трескъ свѣчи шипѣлъ:
— Въ терпѣньи и отвагѣ
Все ниже лѣзь, все ниже лѣзь!
Мерцаю я и, можетъ быть, погасну,
Но для тебя одинъ исходъ:
Ежеминутно, ежечасно
Все ниже въ тьму, все въ тьму впередъ!—

II.

Спустился я. И чувствовалъ, что люди
Вокругъ меня въ заботахъ и трудѣ,
Что тяжело дышать усталой грýди
Что гнутся всѣ, что мѣста нѣтъ нигдѣ,
Свободнаго отъ сóгнутаго члена,—
Отъ ногъ и рукъ, головъ поникшихъ, спинъ...
За заступы мои цѣплялися колѣна,
И чувствовалъ я здѣсь, что я въ толпѣ одинъ:
Всѣхъ давитъ трудъ, терпѣніе, иль злоба;
Всѣ дышутъ воздухомъ однимъ,
И этимъ воздухомъ до гроба
Пришлось бы жить, быть можетъ, имъ;
Но ихъ лишитъ онъ силы прежде
И не вернетъ сюда опять,
Чтобъ дать имъ, чуждымъ счастью и надеждѣ,

На солнцѣ жалко умирать...

А я? Я видѣлъ: змѣи-корридоры
Ползли въ утробу матери-земли,
И гнулися подъ ней тяжелыя подпоры,
И устрашали, и гнели;
Кайла взлетала въ тягостномъ размахѣ,
И сыпалась земля, и съ нею тотъ металлъ,
Что̀ этотъ людъ въ почтеніи и страхѣ
И нынѣ держитъ, и держалъ.

И видѣлъ я, что я пришелъ лишь видѣть,
Что я пришелъ лишь «наблюдать»
Туда, гдѣ надобно терпѣть, иль ненавидѣть,
Туда, гдѣ мало сострадать...

И все моя свѣча мерцала,
И трескъ ея опять шипѣлъ:

— Увы, увы! здѣсь свѣту мало,
Чтобъ ясно все ты разглядѣлъ:
Рабочихъ тягостнымъ дыханьемъ
Дыши ты здѣсь, дыши ты здѣсь!
Имъ надышись, и, съ новымъ колебаньемъ,
Ты къ свѣту лѣзь, ты къ свѣту лѣзь!
Погасишь самъ меня, приблизясь къ свѣту,
Но тотъ же будетъ твой исходъ:
Все глубже въ тьму, въ трущобу эту,—
Все выше въ свѣтъ, все въ свѣтъ впередъ!—

III.

Изъ шахты вышелъ я. Тепломъ и лаской
нѣжной
Лучи роняло солнце мнѣ на грудь:
Животворя всю землю, властно и небрежно
Оно свершало свой обычный путь.
Бѣлѣли травы искристой росою,
И волны рѣкъ ласкали берега,
И, полной силъ, зеленой полосою
Въ сіяньи дня раскинулись луга.
Душа моя вся таяла глубоко
И, какъ рѣка въ весенній ледоходъ,
Живымъ волненьемъ смѣло и широко
Ломало иго скорби и заботъ...

Стоялъ у шахты я...И былъ смущенъ
нежданно:
Рабочему въ нее я путь загородилъ.
Онъ ждалъ покорно. Холодно и странно
Въ его устахъ не смѣхъ бродилъ,
Не судорога тяжкаго укора,
А утомленья тайнаго порывъ.
Не отводя отъ шахты взора,
Какъ будто тягостно застывъ,
Онъ на кайлѣ задумчиво покоилъ
Мозолистой руки холодную ладонь,
Онъ точно говорилъ:

—Чего бы я ни стоилъ,
Ты лѣнь мою упреками не тронь:
Лѣнивъ ли я, усталъ ли я,—не знаю,
Но видишь: я подъ землю ухожу;
Ищу чего-то, что-то добываю,
Кому-то что-то нахожу...
Ввалилась грудь моя, въ морщинахъ обликъ
темный,
Все тѣло—кость, а кожа—лишь мозоль;
Вся жизнь— въ работѣ неподъёмной
Въ привычку выросшая боль...—

Стоялъ рабочій. Ярко и жестоко
Къ его фигурѣ солнца лучъ приникъ,
И рисовалъ спокойно, безъ упрёка:
И равнодушный этотъ ликъ,
И опустившіяся руки,
И эту вдавленную грудь...
Свѣчу я погасилъ. Иные звуки,—
Не трескъ свѣтильни, слышимый чуть-чуть,—
Казалось мнѣ, гремѣли не смолкая:
То солнце рѣчь суровую вело,
Всего меня сіяньемъ проникая:

— Тебѣ свѣтло, тебѣ тепло,
Но въ этомъ свѣтѣ всемогущемъ,
Куда бъ ни двинулись вы всѣ,
Предстанетъ вамъ видѣніемъ гнетущимъ
Въ незабываемой красѣ
То, что̀ ты видишь: въ тьмѣ невольно

Васъ что-то мучитъ, какъ кошмаръ,
И непонятно вамъ, и больно,
И чей-то страшенъ вамъ ударъ...
Вы рветесь къ свѣту...вы достигли,
Васъ озарилъ небесный свѣтъ,
Вы непонятное постигли,
Но вамъ отрады нѣтъ, и нѣтъ:
Вопросъ великій тягостнаго вѣка
Предъ вами озаренъ и ясенъ весь...
И слышитъ нравственный калѣка:
—«Все ниже лѣзь, все ниже лѣзь;
Будь вѣренъ грозному завѣту,
Цѣни скорбей твоихъ исходъ:
Все глубже въ тьму, все выше къ свѣту,
Все неизбѣжнѣе впередъ!»—

Первый Спасъ.

Барабà—степное пространство въ Западной Сибири.
Двужильный—крѣпкій, сильный, здоровый.
Шаркунецъ—бубенчикъ.

Оживленіемъ веселымъ
Барабà вся говоритъ:
Всюду слышится по сёламъ
Топотъ множества копытъ:
Скачутъ дѣти въ перегонку,
Или мчатся всѣ заразъ:
Правитъ конская сторонка
Конскій праздникъ—Первый Спасъ.

Ѣдутъ юноши-подростки,
Какъ казàки на смотру;
И порою словомъ хлёсткимъ
Всѣмъ ребятамъ понутру
Перекинуться съ дѣвченкой—
Захохочутъ всѣ заразъ:
Правитъ конская сторонка
Конскій праздникъ—Первый Спасъ.

Много ихъ на кòняхъ сильныхъ,
Парень парня удалѣй:
Сторона коней двужильныхъ—
Край двужильныхъ и людей!
Перетянутъ станъ ихъ тонкій,
И горятъ шеренги глазъ:
Правитъ конская сторонка
Конскій праздникъ—Первый Спасъ.

Ѣдутъ тихо, ѣдутъ важно,
Горяча коней слегка;
И откинута вальяжно
Съ плеткой лѣвая рука.
И отрывисто, и звонко
Шаркунцы́ гудятъ заразъ:
Правитъ конская сторонка
Конскій праздникъ—Первый Спасъ.

Сколько ихъ! Такъ въ полѣ ратномъ
Скачетъ въ бой за строемъ строй.
Ходятъ кости въ парнѣ статномъ,
Парень праздника герой.
И хохочутъ дѣвки звонко—
Ищутъ въ строѣ милыхъ глазъ:
Правитъ конская сторонка
Конскій праздникъ—Первый Спасъ.

Лошадь лошади могучѣй:
Грудь и плечи—словно печь,
И космàми, будто тучей,

Гривамъ къ шеѣ не прилечь.
Матка кличетъ жеребенка,
И коситъ свой умный глазъ:
Правитъ конская сторонка
Конскій праздникъ—Первый Спасъ.

Пыль вздымаютъ жеребята,
И за ними скачутъ псы.
А удàлые ребята,
Подбоченясь для красы,
Изгибаютъ станъ свой тонкій
И коней пускаютъ въ плясъ:
Правитъ конская сторонка
Конскій праздникъ—Первый Спасъ.

И для дѣвокъ за горохомъ
Скачетъ парень не одинъ.
И, смутивъ переполохомъ
Сонъ гороховыхъ тычинъ,
Всѣ въ горохѣ, скачутъ звонко,
Только видно пару глазъ:
Правитъ конская сторонка
Конскій праздникъ—Первый Спасъ.

Руки вскинуты высоко,
Неуклюжъ лошадокъ скокъ;
Слышенъ свистъ и крики:—Но-ка,
Но-ка, но-ка, меренокъ!—
Мчатся парни въ перегонку,—
И предъ дѣвкой стали въ разъ:

Правитъ конская сторонка
Конскій праздникъ—Первый Спасъ.

Гладя бороды съ улыбкой,
Разсуждаютъ мужики:—
Конь у насъ въ селѣ не хлибкій,
И ребята—мастаки:
Понимаютъ дѣло тонко...
Такъ ли, друже, дядя Власъ?—
Правитъ конская сторонка
Конскій праздникъ—Первый Спасъ.

Всѣ заваленки старухи,
Причитая: ахъ да охъ,
Облѣпили, словно мухи—
Все жуютъ, жуютъ горохъ;
И, причавкивая звонко,
Не сведутъ съ лошадокъ глазъ:
Правитъ конская сторонка
Конскій праздникъ—Первый Спасъ.

Даже ты, парнюга малый,
Сынъ голодный бѣдняка,
Отъ другихъ ребятъ отсталый,
Весь въ лохмотьяхъ армяка, —
Съ видомъ мокраго котёнка
Не потупишь свѣтлыхъ глазъ:
Правитъ конская сторонка
Конскій праздникъ—Первый Спасъ...

На послѣдней ты кобылѣ,
Чтò едва отецъ сберёгъ...
Пусть давно кобыла въ мылѣ,
Всѣхъ догналъ бы паренёкъ,—
Да пузата лошаденка,
Отъ соломы расползлась...
Правитъ конская сторонка
Конскій праздникъ—Первый Спасъ...

Новосёлы.

Посвящается А. И. Ефимову.

Новосёлы—переселенцы.

Все лѣто дождь поитъ лѣса и нивы.
И, поднимаясь, грозные разливы
Изъ береговъ выносятъ воды рѣкъ.
Всѣ отмели глубоко исчезаютъ;
На побережья волны выползаютъ
И растекаются. И человѣкъ
На пышный лугъ съ травою небывалой,
На хлѣбъ, возросшій выше головы,
Взираетъ молча съ горестью усталой:
Ни хлѣба сжать, ни выкосить травы
Увы, надеждъ ненастье недавало;—
Къ послѣднему страды суровой дню
Переростетъ все жалко на корню.

А вдоль дорогъ, какъ новые протоки
Нежданныхъ рѣкъ, и грязныхъ и широкихъ,—
Струи спѣшатъ въ промоины стекать,

Смывая грязь и снова намывая.
И солнца лучъ, на мигъ одолѣвая
Нависшихъ тучъ темнѣющую рать,
Потоки грязи въ рытвины засушитъ;
И, надъ землею снова разразясь,
Увы, тѣхъ рытвинъ ливень не разрушитъ,—
Ихъ увеличитъ новая лишь грязь...
И сбруя лошадей все больше душитъ,
И я терплю толчки перекладной
Прывычными боками и спиной.

На встрѣчу мнѣ идетъ обозъ кибитокъ.
Старухи въ нихъ на рухляди пожитокъ
Съ тупымъ терпѣньемъ молча улеглись.
Скрипѣлъ холщевый кузовъ надъ тѣлегой;
Изъ подъ него съ какой-то грустной нѣгой
Дѣтей головки свѣшивались внизъ
И на затылокъ ливень принимали.
И, опустивъ усы свои на грудь,
Съ бичемъ въ рукахъ «хозяева» шагали.
А дѣвушки, спѣша перешагнуть
Промоины и лужи, подбирали
Края одежды,—ноги обнажа,
Отъ сырости и ежась, и дрожа.

Изморены, измучены дорóгой,
Едва шагали лошади. Убого
И слабо упряжь терлась на бокахъ;
Нерѣдко на шлеѣ была заплата.
Уныло шли за маткой жеребята,

И песъ,—едва въ пути онъ не зачахъ —
Языкъ повѣсивъ, съ робкою мольбою
Глядѣлъ въ глаза хозяевамъ своимъ.
Кой-гдѣ подростки двигались гурьбою,
И шелъ, отставъ, ребенокъ-нелюдимъ.
Иные волочили за собою
Сухую ель — находку на дрова... —
Ложилась слѣдомъ мокрая трава.

Въ зубахъ мущинъ ихъ трубки угасали;
Иные трубку, молча, все сосали,
А въ ней табакъ отъ сырости потухъ.
И, выжимая мокрыя рубахи,
Молчали всѣ въ унынiи и страхѣ,
Что перевесть недастъ имъ ливень духъ.
На лицахъ темныхъ, рѣзко исхудалыхъ,
Одно сознанье было лишь: идти —
Везти дѣтей, старухъ,—больныхъ и малыхъ,—
Идти-везти по всякому пути;—
И, не щадя ни слабыхъ, ни усталыхъ,
Достичь того, что мило такъ вдали:
Не паханой, не мѣряной земли.

Земли, земли! Казалось это слово
Въ чертѣ любой, задумчиво-суровой
Всѣхъ этихъ лицъ стояло, какъ мечта.
Земли, земли!—мужчинъ, казалось, губы
Молить готовы сумрачно и грубо;
Земли!—казалось, дѣтскiя уста
Такъ жалобно-печально лепетали.

А эти мускулы суровыхъ рукъ,
Какъ будто мощно вылитыхъ изъ стали,
Казалось, молча вытянутся вдругъ,
Моля ладонью пòднятой у дàли—
Сокрытаго въ желанной той далѝ
Клочка земли, непаханой земли!

Я ѣхалъ все. И шли все новосёлы.
И ливень шелъ. Тянулся путь тяжелый
Изъ ямы въ ровъ, изъ рытвинъ на откосъ;
И, словно въ морѣ бурномъ парусами,
Бѣлѣлъ, колеблясь мокрыми холстами
Покрышекъ жалкихъ, вымокшій обозъ.
И думалъ я, все думалъ безконечно,
Все думалъ я и сердцемъ, и умомъ
О силѣ той, что такъ безчеловѣчно
Толпу гнала покинуть отчій домъ,—
Ту хату въ кущахъ вишенья, гдѣ вѣчно
Имъ завѣщали дѣды искони
Въ трудѣ сносить нерадостные дни.

И думалъ я, что нѣтъ сильнѣй той силы.
Предъ ней безсильны праотцевъ могилы.
Подобна вѣрѣ—твердостью своей,
Подобна неизбѣжностью—природѣ,
Она одна создастъ людей въ народѣ,
Создастъ народъ, быть можетъ, изъ людей:
Не даромъ въ край она ихъ дальній гонитъ,
Въ мою страну забытую зоветъ...
Пускай же ливень колосъ низко клонитъ,
Пускай разливомъ многое зальетъ,

И не одно зерно въ грязи потонетъ,—
И пусть толчки въ своей перекладной
Проѣзжій мимо—вытерпитъ спиной!...

Непомнящіе.

Посвящается М. П. Михеевой.

Ша́ньга—родъ ватрушки.

— Давно то было—начинала
Такъ сибирячка свой разсказъ—
О прошломъ помню я не мало,
Но это въ память такъ запало,
Что словно вижу я сейчасъ.
То было въ пору польской смуты:
Лишь года два, какъ манифестъ
Съ крестьянства снялъ былыя путы,—
Закрѣпощенья тяжкій крестъ.

Я помню: новое строенье
На дачѣ мужъ мой возводилъ,
И лѣсъ на балки и на звенья
Намъ мужичекъ одинъ возилъ.
Возилъ тотъ лѣсъ онъ по подряду
И занимался тѣмъ всегда.
Къ простонародному наряду

Такъ шла густая борода
И взглядъ его, прямой и ровный,
И скорби слѣдъ во взглядѣ томъ,
И на работѣ хладнокровный,
Самоувѣренный пріёмъ.

И съ нимъ, всегда одѣта чисто,
Лошадкой правя, шла жена.
Широкобедренна, плечиста,
Но какъ-то мягко сложена,
Была красива молодуха
И грустно-ласкова лицомъ.
И такъ плѣнительно для слуха
Въ покоѣ радостномъ своемъ
Ея привѣтъ звучалъ, бывало,
И понуканіе коня;
А съ мужемъ рѣчь напоминала
Тепло безвѣтреннаго дня.
И мнѣ, повѣрьте, не случилось
Счастливѣй пары увидать.

Разъ молодуху я рѣшилась
Чайкомъ побáловать позвать.
И повели у самовара,
На пальцахъ блюдечки держа,
Мы рѣчь о нòвостяхъ базара,
О средствахъ противъ падежа
Среди скота—ставалъ онъ хуже —
Потомъ о шáньгахъ рѣчь была;
Но помянула я о мужѣ,—

На мужа искренне-притворный, —
Что, не мѣшая ей молчать,
Сама молчала я упорно,
Стараясь все лишь замѣчать.

— Ну то-то! Вотъ и не охота
Свое то выпростать нутрò.—
Сказалъ Иванъ.—А отъ него то
И вышло наше все добро.
Ну-съ, поселенецъ, госпожа, я,
Допрежъ того бродяга былъ;
Ну а супруга то вторая,
Что я въ Сибири раздобылъ,—
Такъ и осталася бродягой,
Какъ въ этомъ званіи была!

Мужикъ бѣжалъ съ ножемъ да флягой;
Во флягѣ водочка жила,
А водка намъ вѣрнѣе брата:
Хватилъ—не струсишь ни предъ чѣмъ!
А какъ бѣжали вотъ дѣвчата,
А ихъ бѣжало, видишь, семь,—
Да все подростки, да погòдки,
Да все швеи отъ госпожи,
Да безъ ножа, да и безъ водки —
Вотъ чтò мнѣ, барыня, скажи!?

Помѣстье было подъ Тамбовомъ;
Была въ немъ Дарья крѣпостной.—
У баръ конца, вишь, нѣтъ обновамъ,—

Не разогнись швея спиной,—
Да и въ такомъ то положеньи
Жди все затрещинъ да пинковъ!—
Бѣжали дѣвки въ нестерпѣньи...

Да только слушай: мужиковъ,
Вишь, изловили—кандалами
Я тоже въ жизни позвенѣлъ,—
А тѣ въ Сибирь явились сами!
Да просто я остолбенѣлъ,
Глазамъ не вѣрю: дѣвка дѣвкой,—
Бѣжала также, какъ и я,
А не словили!—Да издѣвкой
Считала то душа моя!
Терпѣли, надо быть, не ме́нѣ,
Чѣмъ я, скитаясь эку даль,
Небось, и ноги по колѣни
Путемъ избить не стало жаль...
Таскались, скажешь, съ нашимъ братомъ?
Не знаю, всѣ-ль, а вотъ одну
Пропойствомъ что-ли, аль развратомъ,
Аль лѣнью я не попрекну:
На домостройство, на работу
Куда какъ Дарьюшка рѣзва!—
И не попались! До того то
Моя скружилась голова—
Кой-какъ дождался разрѣшенья
Жениться снова—вотъ тѣ Богъ!
Безъ Дарьи нѣту утѣшенья,
Безъ Дарьи просто занемогъ...

А чѣмъ крѣпка такъ наша доля,
Чѣмъ наше счастье скрѣплено̀? —
Мутила насъ одна неволя,
Свело скитаніе одно:
Вишь, двухъ «непомнящихъ» вѣнчали,
У насъ фамилья то одна...

Да что̀! испиты тѣ печали, —
Теперь, вишь, волюшка дана...

Иванъ умолкъ. Спина согнулась,
Поникъ онъ русой головой.
А Дарья тихо улыбнулась
И позвала его домой...

Амурская труба.

Въ разгарѣ полномъ Пасха. Балаганы
Зовутъ толпу на людныхъ площадяхъ.
Петрушки визгъ и шутки балагуровъ,
Съ досчатыхъ крышъ все громче раздаваясь,
Съ сіяньемъ солнца словно сговорились:
Во всемъ веселье яркое и жизнь.

И не замѣтишь тайнаго страданья
Въ полубеззубомъ жалкомъ старикѣ,
Когда, дрожа отъ холода на крышѣ
Въ своемъ кумачномъ красномъ одѣяньи,
Однѣ и тѣже шутки повторяя,
Скрываетъ онъ апатіи зѣвоту
Да и тоску, быть можетъ...

Я замѣтилъ.

И стало мнѣ и грустно, и досадно
И за тебя, фигляръ полуголодный,
И за народъ, внимающій тебѣ.
И въ грусти той я словно породнился

Душой съ неизбалованной весельемъ,
Такъ часто чуждой радости толпой.
И увлеченъ былъ ею, какъ потокомъ,
Въ тесовый, низкій, жалкій балаганъ:
Хотѣлось мнѣ въ ея весельи грубомъ,
Неприхотливомъ—тайно погрустить.

Я озирался, сидя на досчатой
Кривой скамьѣ; а съ боку помѣщались
Три музыканта въ праздномъ ожиданьи,
Когда начнется плясъ маріонетокъ,
Чтобъ танцы имъ уныло заиграть.
Одинъ изъ нихъ евреемъ и цыганомъ,
Голоднымъ и грабителемъ глядѣлъ;
Онъ былъ не молодъ, грязенъ и растрепанъ,
И провонялъ виномъ и чеснокомъ;
Бѣлки его кроваво-пьяныхъ глазъ
Блестѣли нагло, холодно и злобно.
Другой смотрѣлъ солдатомъ отставнымъ;
Тупой, опухшій, вялый, онъ дремалъ,
Держа трубу, измятую безбожно,
Въ своихъ худыхъ, мозолистыхъ рукахъ.
Ребенокъ третій былъ: босой и исхудалый,
Межъ нихъ со скрипкой старой на колѣняхъ
Едва онъ могъ отъ устали сидѣть.
И, покачнувшись съ сонными глазами,
Толкнулъ солдата мальчикъ, и трубу
Его невольно выронить заставилъ.

— Ну, ты!—ворчалъ, поднявъ ее, солдатъ: —

Она подъ Севастополемъ бывала,
А ты ее, поганецъ, уронилъ!—
Солдатъ ворчалъ, дремать опять готовый;
Но полу-жидъ, полу-цыганъ безмолвно
Ребенка въ спину тягостно ударилъ,—
Сверкнули злобой пьяные глаза,
А на глазахъ ребенка встали слезы...
—И подѣломъ тебѣ—сказалъ солдатъ:—
И отъ меня получишь, подожди!—
Ребенокъ поблѣднѣлъ...

А я невольно
Къ солдату ѣдко обратился:—Правда ль,
Что твой тромбонъ попалъ подъ Севастополь?
Не врешь ли ты, служивый?—Анъ, не вру! —
Охотно мнѣ служивый отвѣчалъ:—
Моя труба была и на Амурѣ!
Когда съ французомъ бились мы, да съ туркомъ,
Она была хорошая труба;
Потомъ изъ Крыма, послѣ ужъ войны,
Какъ стала хуже, ну ее послали
Сюда въ Иркутско, въ здѣшній батальонъ;
Ну, а потомъ пошла при Муравьевѣ
И на Амуръ. Оттуда ужъ совсѣмъ
Плоха пришла. Ну какъ-да-какъ терпѣли,
И кинули... А былъ я въ музыкантахъ...
Ну и попользовался... Вотъ тѣ Богъ!

Служивый вралъ ли, правду ль говорилъ,
Не знаю я... Я въ думы погрузился,

И эти думы въ грезы перешли,
И три картины мнѣ нарисовали:

Окопы видѣлъ я. И клубы дыма
Безмолвно поднимались, а за ними
За залпомъ залпъ раскатывался глухо,
Катился, отдавался, замиралъ...
И чуть не годъ, одни другихъ смѣняя,
Шли на редуты люди, и ложились
Безмолвныхъ жертвъ безмолвные ряды.
А кто былъ живъ, тотъ въ ранахъ изнывалъ
А кто и раненъ не былъ, истерзался,
Весь въ атмосферѣ смерти изболѣлъ:
Онъ засыпалъ подъ грохотъ перестрѣлки,
И подъ тревогу приступа вставалъ;
Бокъ-о́-бокъ съ нимъ стонали, умирая,
А онъ молчалъ и зналъ, что онъ такой же
Работникъ смерти въ станѣ лишь врага...

И звукъ трубы, блистающей и гулкой,
Игралъ отбой и приступъ, и тревогу,—
Отчетливо и весело игралъ.
Сама здѣсь смерть въ величіи являлась,
И не одна труба служила смерти
Съ увѣренностью полной: здѣсь не люди—
Герои были...
И предстала мнѣ
Иная скорбная картина. Тѣ же
Шинели, кэпи, ружья... но не въ битвѣ
Съ людьми: въ бою съ опаснѣйшимъ врагомъ,

Востока дальняго лѣса и степи,
И зиму въ нихъ суровую я видѣлъ.
Почти безъ битвъ край дальній завоеванъ;—
Идутъ полки назадъ; но Божьей волей
Край не извѣстенъ имъ, а вожака
Незнаніе иль...знанье ослѣпило,
И путь потерянъ... Темныя трущобы
Стоятъ въ снѣгу, безмолвіемъ ужасны.
Лишь звѣря шорохъ, рѣдкій и зловѣщій,
Смущаетъ тишь. И звѣрь бѣжитъ солдатъ:
Ихъ слишкомъ много. Но не лучше звѣря
Глядятъ они горящими очами
На лицахъ, стужей страшно обожженныхъ
И исхудалыхъ,—и глядятъ со страхомъ,
Со злобой и безуміемъ глядятъ —
Другъ нà друга глядятъ...—И несомнѣнно
То голодъ смотритъ...
А труба,
Стараясь ихъ обóдрить, жалкій маршъ
Играетъ сипло, глухо на морозѣ.
И жалокъ звукъ. Но жадно музыканта
Уста, давно голодныя, сосутъ
Ея отверстье, тряпкой обмотавъ
На холодѣ остынувшую мѣдь...

Увы! труба умолкла. И молчали
Лѣсà въ снѣгу. И звѣрь бѣжалъ далёко.
А люди ѣли трупы—въ тишинѣ
Глухихъ лѣсовъ другъ друга пожирали,
И дикая тоска нѣмыхъ очей

Впивалась въ ликъ съѣдаемаго брата.
Немногіе спаслись. Живыхъ нашли ихъ,
Доставили на родину, но тамъ
Свела съ ума ихъ мысль о томъ, что̀ ѣли...
Труба молчала. То не люди были—
То звѣри были...

И опять иное

Увидѣлъ я: кабакъ передо мною,
И въ немъ и чадъ, и топотъ, и стенанья...
Въ углу, облипшемъ влагой испареній,
И водкою, и голодомъ пьяны́,
Въ забвеньи дикомъ, съ радостію злобы
Ребенка бьютъ бродяга и солдатъ.
Одинъ рычитъ:—Тебя учу на скрипкѣ:
Вѣдь это хлѣбъ, а ты лѣнтяй и плутъ!—
Другой рычитъ:—Слуга царю я что ли,
Коль ты меня не хочешь почитать?!
Я николаевскій! Не безъ отмѣтинъ
Спина: и насъ бивали ненарокомъ!
А ты—мальчишка, стало быть, терпи!—
Ребенка бьютъ: давно молчитъ ребенокъ;
Онъ прежде плакалъ—нынѣ лишь молчитъ.

И съ нимъ труба молчитъ. Лежитъ на лавкѣ
Она, тускла, измята и грязна;
И прежній звукъ, героевъ ободрявшій,
Извлечь, увы! безсильна изъ себя...
И—люди ль здѣсь, иль звѣри—все равно ей!

Но нѣтъ, она играетъ. Я очнулся;

Труба, хрипя, играла въ самомъ дѣлѣ,
Хрипя, свистя и глухо задыхаясь,
За звукомъ звукъ плачевно выпирая:
То были звуки польки-фолишонъ...
А предо мной, на поднятой эстрадѣ
Плясяли куклы бойко на шнурахъ...

И много рукъ, въ работѣ изможденныхъ,
Мозолистыхъ и вѣчно трудовыхъ,
Рукоплескало пляскѣ той веселой;
И много лицъ, и грубыхъ, и простыхъ,
Съ печатью горя, злобы и заботы,
Смѣялось ей открыто и свѣтло...

То было въ дни святаго воскресенья
Распятаго, поруганнаго слѣпо
И погребеннаго Христа...

Уроки музыки.

Памяти Клеймовича.

Въ томъ краю, гдѣ ссыльныхъ очень много,
Въ барскій домъ учитель музыки ходилъ.
Онъ училъ внимательно и строго;
Но способностей не много
Ученикъ его таилъ,—
Все твердилъ печально и убого:
— Чижикъ, чижикъ, гдѣ ты былъ?...

Терпѣливъ учитель былъ суровый:
Не промолвитъ жесткаго онъ слóва,
Лишь ногою въ тактъ стучитъ отбой;
А услышитъ робкую ошибку,
Поспѣшитъ гримасу скрыть въ улыбку,
Дернетъ лишь болѣзненно губой...

Разъ стучалъ съ особенною силой
Онъ ногою согнутой объ пòлъ.—
И на станъ его, болѣзненный и хилый,
Взглядъ невольно мальчикъ перевелъ:

Словно былъ учитель весь подъ гнетомъ,
Былъ разсѣянъ ко всему.
Повернувшись полнымъ поворотомъ,
Мальчикъ сталъ въ лицо смотрѣть ему:

Блѣденъ былъ учитель; словно въ лихорадкѣ,—
Взоры искрились его,
Волосы спадáли въ безпорядкѣ;
Онъ не видѣлъ ничего,
И съ какой-то грустью и тревогой
По лицу рукою проводилъ,
А ногой, забывчиво и строго,
Отбивалъ мотивъ убогій:
— Чижикъ, чижикъ, гдѣ ты былъ?...

Мальчикъ все смотрѣлъ. И руки
Съ клавишей невольно онъ убралъ:
Столько мысли тайной, столько муки
Дò сихъ поръ ребенокъ не видалъ.
Но, не слыша музыки плачевной,
Вдругъ учитель вздрогнулъ, покраснѣлъ;
Взглядъ блеснулъ досадой гнѣвной...
Но ребенка голосъ зазвенѣлъ:

— Вы больны, monsieur?—И дѣтское участье
Былъ monsieur не въ силахъ оттолкнуть:
Руку сжалъ онъ мальчику со страстью,
Призадумался чуть-чуть,—
И съ загадочной улыбкой
Къ фортепьяно онъ присѣлъ,—

Пробѣжалъ по клавишамъ рукою гибкой,
Весь, какъ мраморъ, поблѣднѣлъ...

И ударили призывно
Звуки стройной чередой.
Въ нихъ величье было гимна:
Такъ предъ общею бѣдой
На борьбу сзываютъ братья
Братьевъ близкихъ и сестеръ:
Жарки скорбныя объятья,
И слезами блещетъ взоръ;
Но тверда рука, и очи
Не смигнутъ передъ врагомъ...

Звуки дѣлались короче,
Накоплялись, словно громъ;
Въ нихъ дышало ужъ веселье
Грозной пѣснью торжества.
Мести злобное похмѣлье
Ихъ не спутало едва;
Вѣра въ скорую побѣду
Заблистала въ нихъ огнемъ,
И, подобно злому бреду,
Раскатился гнѣва громъ...—

Былъ учитель въ изступленьи,
Словно злобы полонъ былъ.—
А въ очахъ молитвы и мученья
Затаилось упоенье.
И ребенокъ позабылъ,

Какъ фальшивилъ онъ съ терпѣньемъ:
— Чижикъ, чижикъ, гдѣ ты былъ?...

Оборвалъ учитель... Всталъ со стула,
Вновь ребенку руку тихо сжалъ;
На глазахъ слеза блеснула;
Онъ задумчиво сказалъ:
— Вотъ чѣмъ, мальчикъ, боленъ я. А впрочемъ
Мы съ тобой урокъ теперь отсрочимъ.
Если жъ то, что̀ я игралъ сейчасъ,
Хоть чуть-чуть, мой милый, полюбилось,
Надо лишь, чтобъ сердце поучилось;
А рука какъ разъ
Эту штуку выполнить поможетъ:
Въ звуки душу переложитъ...
Ну, прощай!—Не даромъ ты твердилъ:
—Чижикъ, чижикъ, гдѣ ты былъ?...

Онъ ушелъ. Задумчивъ сталъ ребенокъ.
Много дней задумчивъ былъ...
Но разъ
Слышитъ онъ: въ гостинной, рѣзко-звонокъ,
Чей-то голосъ велъ живой разсказъ:
— Слышали?—бунтуютъ, усмирили...—
А мамаши голосъ: — Да, да, да,
Какже, какже: вѣсти были...
Просто ужасъ!—Да бѣда—
Разскажу я, милая, вамъ больше:
Былъ у насъ учитель-музыкантъ —
Тоже онъ изъ Польши; —

Посудите, что̀ за франтъ:
Скроменъ, тихъ, а пойманъ съ пистолетомъ:
За̀ городъ бѣжалъ! Весь—музыка одна,
А туда же. Поразилъ отвѣтомъ:
«Былъ бѣжать обязанъ»—вотъ тѣ на!—
«Наши бьются,—онъ твердилъ упрямо:—
«А за ними я хоть на разстрѣлъ...»
Ну, да генералъ помиловать хотѣлъ:
За него хлопочутъ дамы:
Онъ у многихъ вѣдь училъ...—

Мальчикъ слушалъ. И угрюмѣй сталъ онъ;
Къ фортепьяно часто подходилъ,
И на немъ—зачѣмъ, не зналъ онъ—
Съ тихой грустью пальцемъ бралъ онъ:
—Чижикъ, чижикъ, гдѣ ты былъ?...

Враги.

Насъ взлелѣяло Сибири
Небо дальнее одно.
О, немногимъ въ цѣломъ мірѣ
Было дорого оно.
Но, кому оно такъ мило,
Какъ, быть можетъ, мнѣ съ тобой,—
Въ томъ одною больше силой,
Больше слабостью одной...

Дальній край нашъ былъ пріютомъ
Соплеменникамъ твоимъ;
Въ немъ они привыкли къ путамъ—
Путы сдѣлались по нимъ;
Въ немъ о нихъ таила слезы
Молодая грудь твоя,
Объ отчизнѣ надшей грезы
Опьяняюще тая.

И, Сибири сынъ достойный,
Я люблю свой край родной:

Видѣлъ я, что не спокойной
Лишь тюремною стѣной—
Суждено ей поневолѣ
Быть пришельцамъ въ ту тюрьму:
Въ ней щадятъ чужія боли
И въ свою не гонятъ тьму.

И любовь, и примиренье
Я несу изъ той страны
Всѣмъ, отмѣченнымъ гоненьемъ
По винѣ, иль безъ вины,—
Съ кѣмъ участіемъ, не кровью
Породнилась сердца кровь.—
И любовь моя любовью
Встрѣтитъ всякую любовь.

Но, больна своей отчизной,
Мстишь отчизнѣ ты моей.
Полной гнѣва укоризной
Стала боль души твоей...
Въ землякахъ рабовъ лишь видя,
Сердца местью не губи,—
И, скорбя и ненавидя,
Только мысли и люби!

Ряженые.

Посвящается Н И. Бланку.

Въ купеческомъ домѣ далёкой Сибири
На Святкахъ всегда маскарадъ:
Для всякаго дверь отворяется шире,
Хозяинъ здѣсь всякому радъ.
Кто бъ ни былъ, лишь съ виду кажися приличенъ,
Да маску надѣнь,—и входи;
И, къ здѣшнѣй свободѣ умѣло-привыченъ,
Веселье и плясъ заводи;

Ни лишняго слова, ни лишняго жеста,
Чужихъ, какъ знакомыхъ, морочь,—
И будетъ хозяйская дочка-невѣста
Съ тобой посмѣяться не прочь.
Разъ въ домѣ такомъ изъ чужой молодежи
Выходитъ одинъ молодѐцъ:
Лицо подъ картонной малёваной рожей,
Одеждой—купецъ не купецъ;

Простой мѣщанинъ онъ, судя по кафтану,

Манерой, судя по всему,—
Не меньше быть надо, какъ штабсъ-капитану—
Притомъ—адъютанту ему:
Ужъ очень онъ ловко согнуться умѣетъ,
Военная жилка видна.
А взоръ изъ подъ маски угрюмо темнѣетъ,
Рука и тонка, и блѣдна...

Хозяйская дочка снимаетъ мантилью,
Садится онъ рядомъ на стулъ:
Зоветъ фортепьяно заняться кадрилью;
Поднялся предъ танцами гулъ.
Стоитъ у окна лишь безмолвная маска,
Какъ будто скрывая упрекъ.—
Хозяйка взглянула, и робкая краска
Сбѣжала невольно со щекъ.

—Товарищъ вашъ что-то угрюмъ и невеселъ,
Все смотритъ на насъ отъ окна,—
Слегка къ кавалеру склоняяся съ креселъ,
Опасливо шепчетъ она:—
Онъ смотритъ такъ зорко, и взглядъ такъ упоренъ:
Онъ словно за нами слѣдитъ...—
И, точно загадочной думѣ покоренъ,
Храня свой загадочный видъ,

Въ отвѣтъ кавалеръ улыбается дамѣ,—
Улыбка тиха и грустна.
А дама отвѣта все проситъ упрямѣй:
—Мосье,—любопытна она!

Что вашего друга молчаніе значитъ?
Не скажете вы? неужель?—
Но вотъ дирижёръ между парами скачетъ,
И грянулъ, какъ громъ, ритурнель.

И дѣвушка въ танцѣ забыла вопросы,
Склонясь къ кавалеру на грудь.
И, мягко взлетая, роскошныя косы
Коснулися маски чуть-чуть,
Пахнувъ мимолетнымъ своимъ ароматомъ
И мягкостью очи плѣня;
И вновь опустились по плечамъ покатымъ,
Ихъ блѣдность собой оттѣня.

И, вздрогнувши, сжалъ кавалеръ ея руки
И въ танцѣ понесся, скользя;—
И легкости въ танцѣ, въ пожатіи—муки
Ужъ выказать больше нельзя.
Проснулось въ немъ что-то, что спало недавно,
Жилъ чѣмъ-то былымъ онъ опять...
И дѣвушка тщетно старалася плавно
Искусству его подражать;

Была сибирячка слегка неуклюжа,
Но взоромъ и сердцемъ чутка,—
И, робость невольную вдругъ обнаружа,
Шепнула, смутившись слегка:
—Съ танцоромъ такимъ, безъ сомнѣнья, отличнымъ,
Не встрѣтиться мнѣ никогда:

Мосье, вы мнѣ кажитесь, право, столичнымъ;
Вы были въ столицѣ вѣдь, да?

И, вѣрно, тамъ сердце оставили ваше?
Понятна мнѣ ваша печаль:
Тамъ, вѣрно, дѣвицы умнѣе и краше:
Оставить не даромъ ихъ жаль...
Скажите же мнѣ о столицѣ хоть слово,
О дамахъ ея напримѣръ...—
И, вспыхнувъ очами, потупилъ ихъ снова,
И тихо сказалъ кавалеръ:

— Оставьте столицу: я былъ тамъ недавно:
И въ свѣтѣ, и въ обществѣ былъ.
И все тамъ на мѣстѣ, и все тамъ исправно,
И я тамъ не все позабылъ...
О, дайте мнѣ вспомнить, какъ тамъ я кружился,
Жалъ руки и вѣрилъ въ сердца:
Я съ тѣми руками на вѣки простился,
Чтобъ вѣрить въ сердца до конца!...

Чтобъ въ вашей странѣ, и глухой, и далекой,
Такія-жъ сердца находить
И, помня о нихъ,—все, что слѣпо-жестоко
Въ странѣ той—отъ сердца простить...
Лишь будьте безмолвнымъ участьемъ подобны
Всѣмъ тѣмъ, что встрѣчали меня...
Вы молоды сердцемъ, душою незлобны,
Какъ утро весенняго дня,

Пусть въ вашемъ веселіи сердце находитъ
Забвенье въ послѣдній ужъ разъ...—
А дама все шепчетъ: — Но другъ вашъ не
сводитъ
Съ насъ мрачно-насупленныхъ глазъ.
И вы такъ печально, мосье, говорите...—
Мнѣ кажется, онъ вамъ злодѣй?!
— О нѣтъ, онъ мой другъ! Но довольно,
Простите...
Какъ онъ, вы жалѣйте людей,

Какъ онъ, потакайте капризу пустому,
Коль жизнь ихъ была не капризъ
И горе настигло... А впрочемъ, до дому:
Пора намъ—небось заждались.—
И сжалъ онъ ей руку, и съ маской угрюмой,
За нимъ наблюдавшей, ушелъ.
А барышня долго, объятая думой,
Смотрѣла растерянно въ полъ:

Бесѣды той долго она не забудетъ
И глазъ этихъ, полныхъ тоски,
И долго пожатье ей чудиться будетъ
Изящной и блѣдной руки...
А тамъ на дорогѣ у дальной заставы,
Гдѣ лишній не видитъ ихъ взоръ,
Садился въ кибитку, съ солдатомъ направо,
Въ тулупѣ искусный танцоръ...

А тотъ, что злодѣемъ казался хозяйкѣ,

Въ кибитку переднюю сѣлъ,
Сердито прибѣгнулъ къ казачьей нагайкѣ,
Ямщикъ отъ нея закряхтѣлъ,
И тронулись кони. На холодѣ свистомъ
Унылымъ ямщикъ засвисталъ...
Искусный танцоръ сталъ опять—декабристомъ,
«Злодѣй» же фельдъегеремъ сталъ.

Князья.

Въ волненьи рудникъ Благодатскій:
Чего-то каторжники ждутъ.
Не слышно пѣсни залихватской,—
Покрылъ все говоръ пересудъ:
— Да, други, воля то Господня—
Господня воля—не своя:
На нашу каторгу сегодня
Придутъ работнички-князья.

А были въ Питерѣ изъ важныхъ,
Изъ первыхъ, стало быть, господъ—
Не изъ чиновниковъ бумажныхъ:
Военный, слышно, все народъ!
Иные, братцы, генералы
И молодые господа,
А добрались и до опалы,
Дошли до экаго стыда!

Идутъ, идутъ!—И стихли рѣчи,
И, цѣпи медленно влача,

Согнувъ надломленныя плечи,
Роняя съ тонкаго плеча
Сукно тяжелое шинели,
Въ лицѣ страданіе тая, —
Шли-приближались къ мрачной цѣли
Изнеможенные князья.

Сверкали ружьями солдаты,
И мѣрно звякнулъ ихъ прикладъ,
Когда взять кирки и лопаты
Остановился скорбный рядъ.
И руки блѣдныя сжимали
Орудій тяжкихъ рукоять,
На плечи молотъ опускали, —
И къ подземельямъ направляли
Князья шаги свои опять.

И вдругъ въ густой толпѣ рабочихъ
Внезапно пѣсня раздалась.
На запѣвалу поднялъ очи,
Его минуя, каждый князь:
То былъ разбойникъ знаменитый,
Давно въ работы, въ рудники
Отъ свѣта Божьяго укрытый
И тамъ не вѣдавшій тоски.

Могучъ въ плечахъ, кудрявъ и молодъ,
Онъ пѣсню русскую запѣлъ,
И, въ грудь ударивъ, словно молотъ,
Могучій голосъ зазвенѣлъ.

Дышала пѣсня та родная
Раздольемъ русскихъ деревень;
И память родины святая
Въ чертахъ князей легла, какъ тѣнь; —

И было въ тѣни той отрады
Такъ много тайной и живой...
И, на пѣвца поднявши взгляды,
Князья поникли головой.
И пѣлъ разбойникъ. Звуки ныли
И уходили въ небеса...
И дружно пѣсню подхватили
Другихъ рабочихъ голоса.

Ушли князья.—Небось въ Расеѣ,
Въ раздольѣ дѣдовскихъ полянъ
Была имъ пѣсенка милѣе
Отъ родовыхъ своихъ крестьянъ.
И здѣсь въ глазахъ то засіяло,
Когда ударилъ пѣсню я!—
Сказалъ разбойникъ-запѣвало.—
И пѣсня та съ тѣхъ поръ звучала,
Лишь появлялися князья.

Друзья шайтана.

Тайша̀—родовитый или чиновный человѣкъ.

Угрюмо завыла сердитая вьюга,
Въ степи Забайкалья траву наклоня.
Укрылися въ юрты бурята съ испуга:
Суровою ночью ждутъ яснаго дня.—
Не спится бѣднягамъ. Доѣли барана,
Всѣ кости сглодали, раздули костеръ...
— Шайтанъ расходился! О, бойтесь шайтана!—
Старикъ убѣждаетъ, потупивши взоръ:—

Вы слышите: плачетъ земля подъ ударомъ
Невидимыхъ, грозныхъ, хватающихъ лапъ...
А дружба съ шайтаномъ не кончится даромъ
Тому, кто до чаръ обольстительныхъ слабъ.
О если бъ вы видѣли, какъ поникаетъ
Подъ страшнымъ дыханіемъ слабый ковыль! —
О людяхъ же тѣхъ, что̀ шайтанъ увлекаетъ,
Скажу вамъ не сказку, скажу я вамъ быль:

Я юнъ былъ въ ту пору, въ ту давнюю пору...
Созвалъ насъ всѣхъ русскій сердитый тайша̀,

Бурятъ молодыхъ по его приговору
Назначить улусъ нашъ былъ долженъ, спѣша,
Бурятъ побойчѣе:—вести по дорогамъ
Людей, что̀ солдаты далёко ведутъ.
Тѣ люди—сказалъ онъ—отвергнуты богомъ,
Узнали всю сладость шайтановыхъ путъ;

Тѣ люди—сказалъ онъ — друзьями шайтана
Признали себя и служили ему,
И влекъ онъ, какъ лодку на мель средь тумана,
Въ неволю тюрьмы ихъ—сквозь злобу и тьму;
Тѣ люди—сказалъ онъ—на долгія муки
Смѣнили всю радость веселой души,
И раньше не знали заботы и скуки,
Владѣли рабами, и были тайши̇̀.

Пошелъ я вожатымъ. И много ихъ было:
Чудна̀я одежда висѣла на нихъ;
Иные смотрѣли безсильно и хило,
И сила, и бодрость была у другихъ.
Но лица всѣ были усталы и блѣдны,
Хоть часто смѣялись и пѣли они:
Ужъ видно не скроешь—не будутъ безслѣдны
На службѣ шайтану тяжелые дни.

А много ихъ было! И страшно солдаты
Ихъ всѣхъ окружали. И самъ генералъ,
Чиновный тайша̀—я слыхалъ—и богатый,
Старикъ посѣдѣлый за всѣмъ наблюдалъ.
За ними въ повозкахъ ихъ ѣхали жены—

И ласковы были, тихи и добры...
И, этой-то лаской-добромъ обольщенный,
Я хуже шайтана боюсь съ той поры...

О, если бъ вы видѣли тихія очи,
О, если бъ вы слышали тихую рѣчь,
Съ какою на солнцѣ и въ сырости ночи
Старались мужей эти жены беречь...
О, если бъ вы видѣли взоровъ отраду,
О, если бъ вы слышали радость рѣчей,
Какой отвѣчали ихъ каждому взгляду
Глаза этихъ страшныхъ шайтана друзей...

И вы бы, какъ я, позабыли шайтана,
И вы бы, какъ я, къ нимъ поближе пошли,
И вы бы, какъ я, и охотно, и рьяно,
О жизни бурята разсказъ повели:
О ней ихъ разспросы такъ были упорны:—
Влекла ихъ къ бурятамъ шайтанова тьма!—
И вы бы, какъ я, съ ними сѣли позорно
Играть въ ту игру, что̀ насъ учитъ лама̀...

О, зорко я двигалъ по клѣткамъ фигуру,
Шайтана друзей я не разъ объигралъ...
И радъ былъ и счастливъ: смѣялся я съ-дуру,
Трепалъ по плечу ихъ и руки имъ жалъ...
А послѣ узналъ, что въ цѣпяхъ ихъ томили,
Гоняли подъ землю въ ней рыться, какъ кротъ;
Имъ даже особый острогъ возводили—
Туда ихъ и гнали, въ Петровскій заводъ!

Да, послѣ узналъ я... И вспомнилъ шайтана,
И былъ я испуганъ, и былъ я смущенъ...
Съ тѣхъ поръ словно ноетъ въ груди моей рана:
Едва лишь шайтанъ поднимаетъ свой стонъ,
И мчитъ, подхватя, его страшная вьюга,—
Я вижу тѣхъ женщинъ, тѣхъ блѣдныхъ людей—
Въ себѣ я боюся шайтанова друга—
И кажется ночь мнѣ страшнѣй и темнѣй!

Ночлежный домъ.

Памяти художника Калганова.

Кругомъ, оборваный и пьяный,
Расположился темный людъ:
Въ одномъ углу берéдитъ раны,
Зловѣще сгорбленъ, желтъ и худъ,
Калѣка нищій: подаянье
За обнаженное страданье
Щедрѣй увѣчному даютъ.

Вотъ поднялася, и въ зѣвотѣ
Застыла женщина вдали;
Глазъ равнодушнѣй не найдете;
Темнѣя, вѣки облегли
Ихъ взоръ тупой, слезливо-влажный;—
Товаръ дешевый и продажный,
Черты и станъ ужъ отцвѣли.

За ней въ визиткѣ безобразной,
Съ ногами въ женскихъ башмакахъ,
Полулежитъ въ досадѣ праздной

Съ дрожаньемъ пьяницы въ рукахъ,
Съ нахальствомъ въ обликѣ небритомъ—
Ночной артистъ: угроза сытымъ
И бѣдняковъ осѣдлыхъ страхъ...

И, съ папиросой самодѣльной,
Тотъ, кто не сѣетъ и не жнетъ,—
Вездѣ зѣвающій безцѣльно
И всюду лѣзущій впередъ;
Не прочь заняться и работой,
Онъ побирается съ охотой
И голодаетъ безъ заботъ.

Не мало тутъ людей «безъ мѣста»,
Людей труда и ремесла:
Какъ прихотливая невѣста,
Ихъ оставляетъ безъ числа
Столица гордая за штатомъ,—
И по ночлежнымъ-то палатамъ
Не всѣмъ имъ мѣсто припасла...

Горитъ ночникъ, воняя, съ трескомъ,
Безсильно съ сумракомъ борясь,
И озаряя желтымъ блескомъ
Сосѣднихъ стѣнъ лишь гниль и грязь.
Кой-гдѣ скрипятъ гнилыя нары;
И духота, какъ чадъ угара,
Надъ соннымъ людомъ поднялась.

Сидитъ художникъ, о колѣни
Сгибая палку. Въ поставцѣ

Свѣча плыветъ, и ночи тѣни,
Сгустившись мрачно на концѣ
Непривлекательной палаты,—
Не въ силахъ скрыть его заплаты
И хохотъ пьяный на лицѣ.

Сидитъ художникъ и безумно,
И горько грезитъ о быломъ:
Въ уѣзной школѣ игры шумно
Ведутъ ребята; крикъ и громъ:
Летятъ подъ лавку книги, перья..
И, вовсе чуждый лицемѣрья,
Смотритель пьяный надъ столомъ

Поникъ въ безсильи отупѣломъ;
А съ нимъ учитель молодой
Однимъ и тѣмъ же занятъ дѣломъ:
Съ упавшей низко головой,
Давя и рвоту, и изжогу,
Вино онъ тянетъ понемногу...
Непобѣдимою мечтой

Онъ далеко, и пьянымъ взорамъ
Иная школа говоритъ:
Ряды статуй по корридорамъ,
Профессоровъ серьезный видъ,
Толпы артистовъ прихотливой
Небрежно вскинутыя гривы,
И покровитель-сибаритъ,

Зашедшій важно въ эти стѣны;—

И онъ—искусства ученикъ,
Искусству жаждущій измѣны!...
Туда охотно бъ онъ проникъ,
Но и погибнетъ онъ безъ вѣсти
Еще охотнѣй—въ жаждѣ мести
Тѣмъ, кто въ искусствѣ лишь великъ,

Чьимъ не предстанетъ пьянымъ взорамъ
Во всемъ величьи тишины
Глухая степь съ ея просторомъ;
Предъ кѣмъ не встанутъ, словно сны,
Средь этой степи безконечной—
Цвѣты богатой, скоротечной,
Благоухающей весны,

Чтобъ увѣнчать страны забытой
Безсилье, мракъ, тоску и глушь;—
Кому и каторжникъ несытый,
И слишкомъ сытый сильный мужъ
Не угнетутъ души кошмаромъ...
О, съ дикой жаждою не даромъ,
Оборванъ, жалокъ, неуклюжъ,

Во власти тягостной запоя,
Искалъ въ столицѣ онъ притонъ
Съ толпой такого же покроя...
Таланта зовомъ увлеченъ,
Не даромъ несъ съ собой въ столицу
Видѣній дикихъ вереницу
И грудь, привыкшую свой стонъ

Дѣлить съ толпой въ ея паденьи,—
И въ немъ дѣлить толпы печаль...
И неотступное видѣнье
Стоитъ предъ нимъ: родная даль
Въ великолѣпьи дивной степи,—
И тяжкій звонъ тяжелой цѣпи,
Штыка блистающая сталь...

И новый гость въ ту даль родную,
Злой воли жалкій богатырь
Приноситъ жизнь свою больную
Въ ея привѣтливую ширь...
И взоръ художника сверкаетъ,
И средь ночлежниковъ ласкаетъ
Гостей въ родимую Сибирь...

Старый храмъ.

Не знаю я, на сколько древенъ ты;
Но древности печать желалъ въ тебѣ узрѣть я
И изъ твоей поблекшей красоты
Воззвать къ бесѣдѣ темныя столѣтья...

Мнѣ въ строгомъ стилѣ слышались вѣка,
И, пусть недавно ты построенъ,—
Ихъ рѣчь, какъ правда, глубока,
Твой видъ,—какъ истина, спокоенъ...

Въ высокихъ башняхъ, тонкихъ и простыхъ,
Въ суровыхъ сводахъ, вытесанныхъ строго,
Кудрей я русыхъ видѣлъ много
И взоровъ сѣро-голубыхъ...

Я видѣлъ край, куда они завоеваньемъ
Несли и вольный трудъ, и вольную борьбу,
Гдѣ передъ грубымъ изваяньемъ
Слагали горе и мольбу.

И пусть, о храмъ, недавно ты построенъ,—

Дѣлить съ толпой въ ея паденьи,—
И въ немъ дѣлить толпы печаль...
И неотступное видѣнье
Стоитъ предъ нимъ: родная даль
Въ великолѣпьи дивной степи,—
И тяжкій звонъ тяжелой цѣпи,
Штыка блистающая сталь...

И новый гость въ ту даль родную,
Злой воли жалкій богатырь
Приноситъ жизнь свою больную
Въ ея привѣтливую ширь...
И взоръ художника сверкаетъ,
И средь ночлежниковъ ласкаетъ
Гостей въ родимую Сибирь...

Старый храмъ.

Не знаю я, на сколько древенъ ты;
Но древности печать желалъ въ тебѣ узрѣть я
И изъ твоей поблекшей красоты
Воззвать къ бесѣдѣ темныя столѣтья...

Мнѣ въ строгомъ стилѣ слышались вѣка,
И, пусть недавно ты построенъ,—
Ихъ рѣчь, какъ правда, глубока,
Твой видъ,—какъ истина, спокоенъ...

Въ высокихъ башняхъ, тонкихъ и простыхъ,
Въ суровыхъ сводахъ, вытесанныхъ строго,
Кудрей я русыхъ видѣлъ много
И взоровъ сѣро-голубыхъ...

Я видѣлъ край, куда они завоеваньемъ
Несли и вольный трудъ, и вольную борьбу,
Гдѣ передъ грубымъ изваяньемъ
Слагали горе и мольбу.

И пусть, о храмъ, недавно ты построенъ,—

Былаго славной красоты
Тобою смыслъ вполнѣ усвоенъ:
Ты стилемъ старъ,—и рушишься ужъ ты!

И, видя плесень въ бревнахъ неподъёмныхъ
И въ мощныхъ свя́зяхъ зрѣющую гниль,—
Читалъ въ твоихъ углахъ я темныхъ
Родной Сибири тягостную быль...

---

26 октября 1881.

Ужъ триста лѣтъ, какъ сынъ опальный
Россіи—въ дальній край пришелъ,
И въ немъ обрелъ конецъ печальный
И славу громкую нашелъ...
И краемъ тѣмъ Москвѣ спѣсивой
Челомъ ударилъ...Но рѣка
Сибири мстительно-ревниво
Взяла навѣки Ермака.

И изъ наслѣдія опалы
Нашъ край опалы сталъ страной:
Сердецъ не мало припадало
Ко груди чуждо-ледяной...
Не зная къ ней любви, быть можетъ,
Они согрѣли эту грудь:
Ермакъ не вѣдалъ, что проложитъ
Для Достоевскаго онъ путь...

Тотъ путь проложенъ имъ широко
Тяжелъ и дологъ онъ, пускай.—
По немъ дѣтей своихъ съ востока
На западъ шлетъ далекій край.....

На вершинѣ Урала.

За шагомъ шагъ выносятъ кони
На высь уральскаго хребта...
Смолистыхъ лѣса благовоній
Полна̀ подъема высота.
А тамъ, внизу—къ родной Сибири
Сбѣгаетъ моремъ темный боръ
И вдаль уходитъ шире, шире,
Сжимая грудь, чаруя взоръ...

И долго я стою безмолвно
На грани родины моей;
И дышетъ грудь глубоко, ровно,
А на душѣ все тяжелѣй:
Какъ будто воздухъ этотъ чудный,
Какъ будто этотъ чудный видъ—
Когда душѣ темно и трудно,
Дышать свободнѣе велитъ...

Какъ будто шепчетъ онъ: возьми же
Дыханье горъ и лѣса въ грудь,—

Тогда спустись туда, гдѣ ниже
Въ столицу вьется дальній путь:
Пусть будетъ тамъ для грýди больно,
Пусть будетъ тяжко для души—
Дыши, какъ здѣсь: глубóко, вольно,
До слезъ страданія дыши!...

Семейная сцена.

Посвящается М. Н. Харузину.

Европа—Азія.
Пограничный столбъ.

Европа, Азія! Знакомыя два слова,
На этомъ рубежѣ звучите вы мнѣ ново:
Какъ будто бы впервые кинутая мать
Сошлась съ наставницей ребенка приласкать,
И, грубая, въ своей одеждѣ немудреной,
Стоитъ она предъ ловкой, выхоленной бонной,—
Не видитъ ничего въ забвеньи впереди,—
Спѣшитъ прижать ребенка лишь къ груди.

А вышколенный сынъ, смущенъ ея костюмомъ,
Ея лицомъ, пугливо-грустнымъ и угрюмымъ,
Упасть въ родимыя объятія и радъ,
Да все коситъ на бонну робкій взглядъ,
Ребенка бонна бы и рада цонаставить,
Какъ бѣды матери и горести исправить,
Какъ свѣтлый лучъ извлечь изъ темнаго лица,—

Да ждетъ согласія безмолвнаго отца,
Да труситъ педагоговъ сумрачныхъ и рьяныхъ,
Его друзей—и званыхъ, и незваныхъ...

Не скоро мать мою съ тобой она сведетъ,
О мой отецъ, о русскій мой народъ!...

Пѣсни о Сибири.

Я пѣлъ ихъ,—и въ темные хвои
Я лиліи стебель вплеталъ,—
И, душу глубоко настроивъ,
Себѣ съ изумленьемъ внималъ:
Я родину пѣлъ,—и въ той пѣснѣ
Природа въ красѣ вѣковой
Явилася мнѣ,—и прелестнѣй
Темнѣлъ подлѣ лиліи хвой...

Но въ темномъ его ореолѣ
И въ лиліи яркомъ цвѣту́ —
Невзгода людей поневолѣ
Встрѣчала поэта мечту:
Являла такъ больно-упорно
Все къ родинѣ той же любовь
Мнѣ въ хвоѣ—подобіе тёрна,
Въ алѣющей лиліи—кровь...

На родину горестно свитый
Вѣнокъ возложить я лишь могъ...

Читатель суровый, рѣши ты,
Къ лицу ли ей этотъ вѣнокъ?
И есть ли чему приглянуться
Въ убогихъ лицѣ и вѣнкѣ?—
И хочется ль къ нимъ протянуться
Твоей равнодушной рукѣ?...

Примѣчанія.

Пѣсни о Сибири обязаны своимъ появленіемъ личнымъ впечатлѣніямъ автора отъ природы родной страны, его столкновеніямъ, встрѣчамъ, или постороннимъ разсказамъ въ той же родной обстановкѣ, среди той же родной природы... Поэтому въ основѣ почти всѣхъ пьесъ лежитъ истинный фактъ; фантазія автора работала въ частностяхъ, тема же, и нерѣдко сюжетъ, давались жизнію... Такимъ образомъ, ни одно стихотвореніе, въ строгомъ смыслѣ, не можетъ быть названо сочиненнымъ, придуманнымъ. Если же, кромѣ сюжета и его обработки, въ нѣкоторыхъ пьесахъ является тенденція, то она—невольный плодъ впечатлѣнія факта. Менѣе всего руководился авторъ намѣреніемъ притягивать факты для иллюстраціи предвзятыхъ мыслей; менѣе всего считаетъ онъ послѣднее дѣломъ искусства; болѣе всего боится резонерства въ лирикѣ, да и во всемъ, что̀ касается поэзіи. Другое дѣло, когда фактъ даетъ мысль, мысль зажигаетъ чувство, и тамъ, гдѣ человѣкъ могъ бы только разсуждать,—онъ страдаетъ, дѣлается лирикомъ: избѣжать этого въ наше время едва ли возможно... Вся отвѣтственность въ такомъ случаѣ на талантѣ: онъ одинъ въ состояніи сохранить на бумагѣ поэзію чувства, присвоенную мыслью въ душѣ человѣка...

Считаю не лишнимъ сказать нѣсколько словъ по поводу фактической подкладки нѣкоторыхъ пьесъ.

— Ледяное озеро, не оттаявшее и въ ту пору, когда распустилась окружающая зелень, а на хвояхъ не осталось ни

одной снѣжинки,—встрѣчено авторомъ въ іюнѣ близь сліянія рѣкъ Лены и Витима.

— Идолы въ видѣ шкуръ, череповъ и т. п. среди обстановки сибирскаго лѣса еще въ дѣтствѣ поражали воображеніе автора.

— Хамарханъ—личный знакомецъ автора, и въ пьесѣ разсказаны, равно имѣвшія мѣсто въ дѣйствительности: первое знакомство съ нимъ автора въ дѣтствѣ и встрѣча въ прошломъ году, почти черезъ 15 лѣтъ.

— О Дочеряхъ Мункò, ихъ пѣніи и о приблизительномъ содержаніи пѣсни авторъ слышалъ отъ того, къ кому была обращена эта пѣсня. Имя Мункò сообщено тѣмъ же лицомъ.

— Воспѣваніе бурятомъ, такъ сказать, текущихъ событій и впечатлѣній не разъ было наблюдаемо авторомъ. Сравненіе росы на зеленомъ (на травѣ) съ искрой на черномъ (на угляхъ) переведено автору бурятомъ, пѣвшимъ на своемъ языкѣ эту «элегію въ двухъ строкахъ».

— Содержаніе Оморóчи навѣяно двумя тунгусàми, явившимися на пароходъ, на Ленѣ, продавать рыбу, и жадно накинувшимися на водку. Разсказъ о борьбѣ съ медвѣдемъ принадлежитъ старшему изъ нихъ и вызванъ разспросами о его поврежденномъ глазѣ... Весеннія ночи на Ленѣ гораздо свѣтлѣе «бѣлыхъ» ночей Петербурга.

— На ургонàхъ — вызвано разсказомъ одного сибиряка о подобныхъ походахъ дѣтей, особенно распространенныхъ за Байкаломъ. Корень сарáны — одно изъ любимыхъ лакомствъ дѣтей. Дружеское сліяніе великоруссовъ и бурятъ замѣчено авторомъ въ степи между Иркутскомъ и Качугомъ; тамъ авторъ наблюдалъ и случаи предпочтенія русскими бурятскаго языка. Самоубійство полевыхъ мышей посредствомъ удавленія въ вѣтвяхъ жесткихъ травъ замѣчено въ Сибири народомъ и

толкуется имъ, какъ слѣдствіе огорченій. Мѣстные же зоологи объясняютъ это массовыми переселеніями мышей, во время которыхъ маленькія животныя нечаянно попадаютъ, какъ въ капканъ, въ рогульки, представляемыя стеблями и вѣтвями жесткихъ травъ.

— Бесѣдовать съ Сыномъ дезертира и испытать грустную развязку этой бесѣды довелось автору на Ленѣ, въ пристани города Киренска.

— Три послѣдующихъ пьесы написаны подъ тяжелымъ впечатлѣніемъ приленскаго русскаго населенія. Это населеніе обязано, конечно за условленную съ казной плату, содержать почтовыя лодки (7 — 9 человѣкъ каждая) и давать по водѣ гребцовъ, противъ воды лошадей и людей для бичевника и управленія лодкой. Взрослые обыкновенно управляютъ лодкой — дѣло, въ виду множества мелей по Ленѣ, сложное — юноши же, дѣвушки и часто дѣти управляютъ лошадьми. Населеніе это, вѣроятно, и существуетъ спеціально для поддержки почтоваго тракта. Суровость и безлюдность края, бѣдность почвы и отсутствіе заработковъ ставятъ этихъ людей въ полную зависимость отъ почтовой повинности. Худое питаніе и вліяніе нездоровой воды ленскихъ притоковъ дурно дѣйствуетъ на ихъ организмъ и весьма часто украшаетъ ихъ зобами. Какъ контрастъ этому жалкому, худосочному люду вспомнилось автору его посѣщеніе Кавказа, вспомнились горцы, Терекъ... Явилось невольное сравненіе Двухъ Рѣкъ... Напомнили Кавказъ, представъ предъ авторомъ, и грозныя Ленскія Щеки («Щеки» въ Сибири — вообще прибрежныя скалы), мимо которыхъ съ благоговѣніемъ, не рѣдко съ молитвою проходятъ рабочіе на баркахъ, даже на пароходахъ. Бесѣдующіе о Павозкѣ, конечно, созданы воображеніемъ автора; но рѣчь парня почти цѣликомъ принадлежитъ такимъ же парнямъ, говорившимъ съ нимъ, доставляя его отъ станціи до станціи. Павозокъ же, во время своего плаванія по этимъ

погребеннымъ въ дебряхъ жалкимъ деревушкамъ, является, особенно для женщинъ, дѣйствительно событіемъ. —

— Авторъ—одинъ изъ тѣхъ «дѣтокъ», которыхъ увезли, много лѣтъ тому назадъ, отъ Сахарбея въ Россію. Стихотвореніе—въ полномъ смыслѣ фотографія.

— Бочка—есть подражаніе ходящей по Сибири полународной пѣснѣ. Типическій варіантъ этой пѣсни можно найти у С. В. Максимова: «Сибирь и Каторга» т. I, приб. 1-е, стр. 410, изд. 1871 г.

— Пять первыхъ пьесъ изъ золотопромышленнаго міра основаны на разсказахъ людей этого міра, слышанныхъ авторомъ въ Олёкминской тайгѣ — золотопромышленной мѣстности въ системѣ рѣки Олёкмы и ея притоковъ. Здѣсь будетъ кстати упомянуть всѣ значенія слова тайга въ Сибири. Первоначально тайга значитъ—дикій, непроходимый лѣсъ; потомъ это названіе переносится вообще на всякую дикую, преимущественно лѣсную, мѣстность; затѣмъ въ частности—именно на золотопромышленную мѣстность, которая обыкновенно почти всегда и бываетъ гористой, лѣсной, дикой; наконецъ тайгой называютъ людей, долго пробывшихъ на золотыхъ пріискахъ, или на поискахъ золота,—прибавляя обыкновенно въ этомъ случаѣ «старая» тайга: Я, братецъ мой, —старая тайга!—часто можно услышать отъ такихъ людей. Я предпосылалъ стихотвореніямъ то значеніе слова, которое въ данномъ случаѣ подходило.

Нахожу здѣсь не лишнимъ пояснить точнѣе и слово забой. Въ Олёкминской тайгѣ работы ведутся двояко: 1) «разрѣзомъ» — когда на извѣстномъ протяженіи, и не на особенно большую глубину, снимается весь пластъ «торфовъ» (не содержащихъ золота породъ земли), и выбираніе «песковъ» (содержащихъ золото породъ) ведется открыто, и 2) «шахтами»: пробивается вертикальный колодезь, иногда на весьма

значительную глубину (до 30 сажень); отъ него ведутся въ область «песковъ» горизонтальные корридоры—«орты», изъ которыхъ и вынимаютъ «пески» для промывки, поднимая ихъ вверхъ посредствомъ ворота, бадьями: вотъ именно тѣ мѣста, тѣ края земляныхъ пластовъ въ «разрѣзѣ» и въ «шахтѣ», которые отбиваются кайлами и заступами, называются забоемъ.

— Патрушеву и Ванькѣ Запѣвалѣ, по прозванію Нижегороду, сохранены ихъ собственныя имена. Патрушевъ, бывшій конюхъ на пріискѣ, вѣроятно здравствуетъ и теперь; оттѣнокъ молодцоватости и удали, вся его внѣшняя исторія конюха и спиртоноса, и общая картина спиртоношества—не есть изобрѣтеніе автора. Эта оригинальная контрабанда вызывается монополіей пріисковаго хозяина имѣть вино. Рабочій, истощенный тяжелымъ трудомъ и одурѣвшій отъ однообразія и скудости таёжной жизни, охотно набрасывается на каждый крючёкъ—старинное названіе подобія шкалика... Этимъ и пользуются такія села, какъ Витимъ,—жители которыхъ, ничего не дѣлая, живутъ исключительно спаиваніемъ и грабежемъ идущихъ на пріиска и возвращающихся оттуда рабочихъ: недаромъ народъ прозвалъ этихъ деморализованныхъ простолюдиновъ Витимскими «дворянами».

Случай съ Запѣвалой переданъ мнѣ тѣмъ пріисковымъ начальствомъ, крики котораго едва спасли забывшихся рабочихъ отъ опасности быть увлеченными паровикомъ въ пропасть.

— Добыча «старательскаго», добровольно, внѣ общихъ работъ найденнаго рабочими, золота изъ оскребокъ идущей на сломъ Старой Казармы произошла одновременно съ пребываніемъ автора на пріискахъ.

— Плачевно кончившійся опытъ созданія Таёжной опричнины изъ ссыльныхъ горцевъ, по мѣстнымъ разсказамъ,

былъ произведенъ на одномъ изъ пріисковъ Олёкминской тайги. Конечно, послѣ первыхъ же схватокъ рабочихъ съ черкесами — послѣднихъ поспѣшили удалить, снова довѣрясь простымъ казакамъ, которые съ рабочими за панибрата и твердо знаютъ истину: рука руку моетъ.

— О существованіи обычая предавать старую одежду Аутодафе послѣ выхода съ пріисковъ—сообщено автору однимъ старымъ горнякомъ, бывшимъ за Байкаломъ, гдѣ существуетъ этотъ обычай.

— Первый Спасъ и Новосёлы—путевыя впечатлѣнія автора.

Коневодство по Барабѣ извѣстно всякому, ѣзжавшему вольной крестьянской почтой, «на дружкахъ: отъ дружка къ дружку», по этой, обильной травами, степи. 1 августа—Первый Спасъ считается праздникомъ, посвященнымъ именно этому главному мѣстному промыслу.

Прошлое лѣто было замѣчательно какъ обиліемъ дождя въ Восточной Сибири, губившаго дороги, травы и хлѣба, такъ и обиліемъ переселенцевъ изъ Малороссіи. Ихъ направляли большею частію на Амуръ. Много претерпѣли они во время пути...

— Непомнящіе разсказъ лица, которому посвящены.

— Амурская труба во всей своей реальной части—фактъ, бывшій съ авторомъ на прошлой Святой Недѣлѣ. Грезы же, разумѣется—грезы... Впрочемъ, вторая греза основана на упорныхъ слухахъ... Можетъ быть, они проникли и въ печать: съ литературой исторіи завоеванія Амура авторъ мало знакомъ.

— Уроки музыки—воспоминаніе дѣтства автора, которое совпадаетъ по времени съ бунтомъ поляковъ за Байкаломъ въ концѣ 60хъ годовъ.

— Ряженые, Князья, Друзья шайтана — мѣстные анекдоты о декабристахъ. Подтвержденіе имъ у С. В. Максимова: «Сибирь и Каторга» т. III, гл. 2, изд. 1871 г.

Стр. 158:

„Въ одномъ городѣ Вятской губерніи одной партіи (декабристовъ) сдѣлали обѣдъ и балъ; другая партія сама воспользовалась послѣднимъ уже въ Сибири. Видя освѣщенныя окна и соблазнившись долетавшими до слуха музыкальными звуками, четверо товарищей подговорили фельдъегеря нарядиться ряжеными,—въ видѣ медвѣдя съ козой и проводниками,—пришли на вечеринку, потанцовали, поужинали и, оставивъ хозяевъ въ недоумѣніи объ отличныхъ пришлыхъ танцорахъ, опять надѣли кандалы и поѣхали дальше на каторгу“...

Стр. 163:

„Знаменитый разбойникъ, красивый богатырь Орловъ всякій разъ при приближеніи «князей» запѣвалъ съ товарищами звучнымъ и серебристымъ голосомъ заунывную пѣсню, предъугадывая мысли и перенося слушателей въ далекую покинутую родину...«Князьями» называли декабристовъ потому, что во многихъ партіяхъ были князья“...

Стр. 213:

„Проводниками (черезъ степь въ Петровскій заводъ) служили бурята, которыхъ исправникъ успѣлъ предъувѣдомить въ томъ, что идутъ злые люди, знающіеся съ шайтаномъ и за то сосланные въ неволю“...

Стр. 214:

„Когда двое шахматныхъ игроковъ садились (во время пути) за столъ, ихъ окружала толпа бурятъ: восклицаніями и указаніями убѣждали въ томъ, что эта игра имъ хорошо извѣстна... Одинъ зайсанъ изъ свиты тайши...объяснилъ, что игра перешла къ нимъ отъ Китайцевъ...“

Буддистскіе ламы—главные проводники къ бурятамъ всего, что̀ идетъ отъ Китайцевъ... Генералъ, сопровождавшій одну изъ партій въ Петровскій заводъ, главный приставъ—Лепарскій.

— Рисунки глубоко даровитаго и не менѣе глубоко несчастнаго, въ ранней молодости погибшаго, художника Калганова, изображающіе Ночлежный домъ, гдѣ проводилъ худож-

никъ свои ночи въ Москвѣ,—породили стихотвореніе этого названія.

Уроженецъ Западной Сибири, художникъ былъ найденъ въ захолустьи какимъ-то мѣстнымъ начальствомъ и, въ качествѣ «таланта», опредѣленъ учителемъ рисованія въ одну мѣстную школу. Впослѣдствіи ему доставили возможность пробраться въ Москву и брать уроки у одного изъ извѣстныхъ здѣшнихъ жанристовъ, спеціально посвятившихъ себя Малороссіи... Но Бахусъ побѣдилъ...

Рисунки его—большею частію каррикатуры—дышутъ мощью глубокаго жанра и преувеличеніями не менѣе глубоко надорванной натуры. Замѣчательна также по экспрессіи его статуетка Плюшкина: покойникъ былъ страстный почитатель и мастеръ воспроизводить и понимать Гоголя.—И рисунки, и статуетка въ частныхъ рукахъ.

—Старый храмъ—деревянная монастырская церковь въ Киренскѣ на Ленѣ. Тамошніе монахи сообщили мнѣ, что ей не болѣе 130 лѣтъ. По виду и стилю, она и грубое деревянное распятіе, находящееся въ ней,—древнѣе...

КОНЕЦЪ.

ВАЖНѢЙШІЯ ОПЕЧАТКИ.

Стран.	*Стр.*	*Напечатано:*	*Должно читать:*
X	1 сн.	ея.	ея
21	8 св.	А по деревьямъ тяжкій и широкій	А по деревьямъ, тяжкій и широкій
23	1 »	ворóны.	ворóны,
—	4 сн.	грубо.	грубо,
34	10 св.	усы.	усы,
—	2 сн.	дóгору	догóру
39	4 »	бурана.	бурана,
43	6 св.	Русскіе	Русскія
47	1 »	станъ	станъ;
—	8 сн.	Ребенокь	Ребенокъ
50	6 »	иими	ними
56	4 св.	взглядъ	взглядъ.
57	2 »	глядя	гладя
62	3 »	незнаемъ	не знаемъ
67	2 »	рѣка	рѣки
107	13 »	Ломало	Ломала
174	9 »	уѣзной	уѣздной
182	4 »	взглядъ,	взглядъ.
189	6 »	частностяхъ,	частностяхъ;

NB. Ошибка въ нумераціи страницъ (вм. 135 нужно 127 и вм. 152—142)—по винѣ корректора.

Stanford University Libraries
3 6105 124 450 938

PG
3467
M5P4

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.